

16+



Ирина Верехтина

Золотая девочка, или Издержки воспитания

Ирина Верехтина

Золотая девочка, или

Издержки воспитания

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34281729

SelfPub; 2018

Аннотация

Повесть о детях глазами взрослых и о взрослых – глазами детей. Изначально предполагалось, что это будет книга для подростков. В итоге получилось нечто другое. Диалоги выполнены стилем "рубленный синтаксис". На таком языке разговаривают дети, максимально расчлняя мысли и фразы и выхватывая из окружающего мира самое главное. Философских умозаключений, авторских отступлений и описаний природы в повести нет. Диалоги на грузинском и литовском приведены с переводом. Эффект присутствия читателю гарантирован. Ах, да. События вымышлены, совпадения случайны.

Содержание

Часть 1. Родительский долг	8
Конец безделью	8
Колешник	11
«Грэми»	14
Полоса везения	19
Часть 2. Не комильфо	23
Музыкальный момент	23
Эмоции на поводке	27
Бабушка Этери	29
Лёд не комильфо	32
Часть 3. Двойной аксель	35
Каток	35
Двойной аксель	39
Часть 4. Партерные поддержки	43
Кастинг	43
Хоакин Кортес	45
Злой волшебник	48
Партерные поддержки	50
Часть 5. Сольфеджио	54
Поклонник Мануэля Бареко	54
Возмутители спокойствия	56
Маков цвет	58
Вот это удача!	60

Остров в океане	64
Часть 6. Мадам Мари	66
Год назад	66
Что ж теперь поделаешь...	70
Разговор	74
Утешение	76
Часть 7. Золотая девочка	78
Шени дэда ватирэ	78
Вахшами (груз.: ужин)	82
Вахшами. Продолжение	87
Часть 8. Друзья	91
На круги своя	91
Аккордеон в боксёрской стойке	93
Умение отвечать на вопросы	96
Бред водителя во сне	99
Часть 9. Гимн свободы	102
Бальное платье	102
На зарядку шагом марш!	104
Часть 10. Гэмо (груз.: послевкусие)	108
Срыв	108
Послевкусие	112
Часть 11. Выпускной	116
После бала...	116
Годом раньше	120
Часть 12. Педагогические методы	122
Нина Даниловна	122

Несколько слов о музыке	125
И ещё немного – о музыке	127
«Педагогические» приёмы	129
Часть 13. Скандалиозо грациозо	131
Несчастье	131
Финал	135
Часть 14. Простите нас	138
Аванти, пополо, алла рискосса!	139
Последний урок	143
Платье для фламенко	144
Гашмагеба (грузинск.: ярость)	146
Тамаши (груз.: игра)	149
Как по маслу	151
Казнь	153
Часть 15. Музлитература	155
Отар Темиров	155
Два сапога пара	157
Музлитература	159
Далекое лето	160
Далекое лето. Продолжение	162
Послеполуденный отдых	164
Дела и заботы	166
Что сегодня на обед?	168
Хорошая девочка	170
Часть 16. Музлитература. Продолжение	171
Песни Леля	171

Последняя шалость	176
«Князь Игорь»	178
Часть 17. Дон Микеле	185
Телефонный звонок	185
Всё ещё больно	187
Одилия из «Лебединого»	189
Пирожные с копчёной колбасой	192
Дон Микеле	197
Часть 18. Нечаянное обещание	200
Горе	200
Обещание	204
Мцухарэба (груз.: горе)	207
Трудное решение	210
Часть 19. Маринэ Кобалия	213
И далее по нотам...	213
Ярость	217
Часть 20. Алаш	219
Двенадцать лет спустя	219
Колыбельная	226
Часть 21. Сыновья золотой рыбки	229
Звездоплователи	229
Враг	232
Сыновья Золотой рыбки	236
Тьма	238
Часть 22. Старый дом	241
Праздник	241

Часть 1. Родительский долг

Конец безделью

Как правило, о жизни мы задумываемся, когда она припечёт: кто в семнадцать, кто в сорок пять, кто после восьми-десяти. Маринэ начала думать о жизни лет примерно с трёх. Примерно – потому что в секцию художественной гимнастики её отвели (отвезли на санках) за четыре месяца до дня рождения, рассудив, что девочке хватит бездельничать. Так что в три года она уже знала, почему фунт лиха.

Особых талантов у Маринэ не обнаружилось, но родители по этому поводу, как сейчас говорят, не парились, и воспитывали дочь на редкость разносторонне: гимнастика с трёх лет, фигурное катание с четырёх, с пяти к конькам добавили плавание, с семи плавание заменили иностранным языком (каток с половины седьмого, школа с половины девятого, очень удобно. А в бассейн возить – неудобно, потому что далеко, а француженка, настоящая парижанка, живет двумя этажами ниже).

Семилетняя Маринэ, которой пришлось по душе плавание, пыталась возражать, но мудрые родители, которые желали своему ребёнку добра, приняли единственно верное решение: умеет плавать, умеет прыгать с трехметровой вышки,

так зачем зря тратить время и деньги? Пусть французский учит, деньги уйдут те же. Справится, уроков в первом классе немного.

Жить стало лучше, жить стало веселей: с утра коньки (ещё не рассвело, но метро уже открыто), после коньков школа, после школы спортзал и коньки, после коньков обед («Ма-аа, опять суп из брокколи, я не буду!» – «Из брокколи был вчера, сегодня из цветной капусты, садись и ешь»), после обеда французский «с носителем языка», потом заучивать французские слова, пока мама не позовёт ужинать («Опять творог! Не могу, он в меня не лезет!» – «Марина! На ужин творог, и ты об этом знаешь. Мне надоели твои капризы. Садись и ешь!»). После ужина французский, читать и переводить с французского на русский и с русского на французский (мадам Мари много задаёт, могла бы поменьше), после французского делать уроки на завтра, после уроков полчаса гимнастики, «и чтобы в девять ты была в постели».

К половине девятого справиться с уроками не удавалось, «будешь сидеть пока не сделаешь». Наконец с уроками покончено, гимнастика сделана, портфель на завтра сложен. Маринэ неслышно входила в гостиную, где был включен телевизор, и присаживалась на краешек стула, подальше от родителей, чтобы не погнались спать. Мать молчала (пришла, значит, все уроки сделаны, пусть смотрит). Но отец, взглянув на часы, качал головой:

– Маринэ, сколько раз тебе повторять, что уроки надо де!

лать! Делать!! А не спать над ними, – строгим голосом говорил отец, и Маринэ чувствовала себя виноватой. – Мне с ремнём над тобой стоять, чтобы ты занималась? Так сейчас возьму, и будешь учиться на одни пятёрки. Не хочешь? Тогда занимайся как следует.

– Иди спать, дочка, ты устала, а тебе вставать в половине шестого, не забыла? – «меняла тему» мать.

– Не забыла... Не устала... Я чуть-чуть посмотрю, можно?

– Не забыла, тогда ложись. Телевизор будешь смотреть в воскресенье. В твоём возрасте нужно спать не меньше девяти часов, иначе организм не будет восстанавливаться, и хватаешь троек. За тройки... сама знаешь.

Колешник

Троек Маринэ почти не получала. Но однажды, когда училась в пятом классе, принесла домой «единицу» по труду. Сверкнув на отца злыми глазами, молча швырнула на стол дневник и залилась слезами. Отец грохнул по столу кулаком и, забывшись, крепко высказался в адрес учительницы труда на грузинском, отчего у Маринэ стали пунцовыми щёки и уши. Она со страхом посмотрела на отца: сейчас он получит от мамы по полной программе. Маринина мама, которая не знала грузинского в таком расширении, против отцовских неслабых глаголов и прилагательных не возражала. Стояла, что называется, у дочери над душой с рюмкой пустырниковой настойки, а Маринэ отталкивала её руку и плакала от обиды, а ещё оттого, что ничего нельзя сделать, ничем не смыть позор «колышницы».

Колешник (как выразился отец) ей «вкатили» за то, что не принесла на урок труда яблоки для консервирования («Тема сегодняшнего урока – консервирование яблок. Яблоки все принесли, не забыли?») А на дворе декабрь, яблоки сами знаете почём. Дома были только вяленые, они вкуснее свежих и без всякого консервирования лежат в полотняном мешке до весны, сохраняя аромат и вкус.

О яблоках Маринэ забыла через пять минут. Некогда было помнить, каждый день заполнен до предела: гимнастика,

каток, школа, каток, французский, перевод «от сих до сих», ненавистный творог на ужин, ненавистные уроки на завтра, ненавистная гимнастика...

– Ма-аа, можно гимнастику не делать, я же утром делала, и на тренировке....

– Можно не делать. Но можно и сделать, полчаса – и пойдёшь спать. А то к стулу прирастёшь, с уроками этими... Мариночка, девочка, не упрямься, что ещё за капризы... Спать хочешь? Так кто же тебе не даёт? Ты с французским битый час сидела, а могла быстрее сделать, и с уроками не тянуть. Выучила хоть, что задано? Смотри, за тройки отец по головке не погладит. И не надо делать такое лицо, следи за своей мимикой. После гимнастики сразу в постель.

– Мариночка, доченька, не упрямься, гимнастика обязательна, и ты прекрасно об этом знаешь. Хочешь, я с тобой посижу, а ты мне покажешь, что умеешь делать...

– Марина! Не халтурь, делай как следует, что это за «мостик» такой? А говоришь, умеешь... Марина! Как следует, это значит держать две минуты: колечко... мостик... шпагат... ласточку... и кораблик! Держи-держи-держи! Умница моя! Наша с отцом гордость. И ещё раз, всё сначала... Держать, держать, не опускать! Молодец!

– И последний раз, соберись и сделай всё идеально. Держишь две минуты – кольцо... мостик... шпагат... ласточку... Кораблик поддержи подольше, сколько сможешь. Молодец! Держать кораблик, держать... Ты что, умерла?! Ещё

раз!»

«Последний раз» – это уже «на автопилоте» и с закрытыми глазами. «Ещё раз» – это когда «уже умерла». Потом душ, потом спать (во сне – каток), где уж тут помнить о каких-то яблоках. Маринэ пришла на урок с пустыми руками. Ей и ещё двум девочкам, которым родители не дали денег на покупку дорогих (по зимней цене) яблок, учительница, полнясь праведным гневом, нарисовала в дневниках большие жирные единицы и выставила из класса как не подготовившихся к уроку.

«Грэми»

Маринэ смотрела на жирный фиолетовый «колешник» в своём дневнике и не верила своим глазам. У неё и троек почти нет, а тут – такое унижение, такой позор. Она даже не двоечница, она колышница. Или колешница. В голове больно и звонко стучали молоточки: «эртиани, эртиани, эртиани...» (груз.: единица).

Чтобы не думать о своём несчастье, Маринэ применила испытанный способ и принялась считать до десяти: «Эрти, ори, сами, отхи, хути, эквси, швиди, рва, цхра, ати», но легче не стало, и она продолжила сквозь слёзы: «тэртмэти, тормэти...» (одиннадцать, двенадцать...). Плелась нога за ногу, всхлипывая, и утирая слёзы кулаком, как когда-то на гимнастике, когда она падала и больно ушибалась (на слезы тренера не обращала внимания, поднимала на ноги и снова ставила на бревно). Школа была не близко, пока дошла, до атаси (тысяча) досчитала. Не помогло.

Домой она пришла расстроенная и злая. Хлопнула дверью так, что в серванте зазвенели стёкла. Швырнула отцу дневник чуть не в лицо, уселась на пол и заплакала. Гиоргис потребовал от дочери объяснений, которые и были изложены – предельно чётко, сквозь всхлипы и судорожные вздохи. В квартире воцарилась нехорошая тишина. Маринэ сидела на полу, уткнувшись головой в колени и захлёбываясь от слёз.

Мать дрожащими руками капала в стакан с водой капли пустырника. Отец крикнул, открыл бар и глубокомысленно в него уставился...

На мать с её пустырником («Пей и прекрати лить слёзы. Нашла из-за чего плакать...») Маринэ посмотрела как на пустое место и выпила папин марочный «Греми» (грузинский коньяк, мягкий, с восхитительным послевкусием, выдержка спиртов не менее десяти лет), отметив попутно, что отец не похож сам на себя. Может, на работе что-нибудь случилось? Хотя сегодня суббота, и в их семье у всех, кроме Маринэ, выходной.

Отец заставил её подняться и, обхватив за плечи, увёл в кухню. Усадил на табурет, взял за длинные косы и шутливо провёл по мокрым щекам пушистыми кончиками. Маринэ смотрела непонимающими глазами, не отвечая на ласку. «А раньше всегда смеялась» – горестно подумал Гиоргис и нехотя выпустил косы из рук, удивившись в который раз их тяжести («И как она их носит, тяжелые такие! Молчит, не жалуется – знает, что отрезать не позволю. Пусть только попробует!»)

Гиоргис бережно уложил дочери на плечи туго заплетенные косы, и с любовью смотрел, как они скользнули вниз двумя шелковистыми ручейками. – «Не плачь. Что бы там ни было, это твой первый колешник, событие надо отметить!» – пошутил отец, пододвигая к ней поближе вкусно пахнущий лаваш и её любимую бастурму с зеленью. Маринэ послушно

взяла протянутую рюмку, на дне которой плескался калёным прибалтийским янтарём знаменитый грузинский «Греми», послушно выпила, не чувствуя вкуса.

Никогда отец не предлагал ей коньяк! Ей всего двенадцать, ей дозволена только минералка, а по праздникам бокал разбавленного мукузани (прим.: грузинское красное сухое вино). Никогда не предлагал, а сейчас налил вторую рюмку (на доньшке, самую капельку), в которой янтарно светилась тягучая душистая влага, бархатно ласкающая горло, согревая его мягким теплом. – Стекающая прямо в сердце волшебная капля, от которой внутри становится солнечно, как в Леселидзе, у бабушки Этери. Отец забыл, что ей через три часа на тренировку...

Маринэ хотела ему об этом напомнить, но промолчала: возражать отцу у них дома было не принято. Выпила одним глотком коньяк, равнодушно взглянула на бастурму и ушла к себе. Подаренные ей «трудоголичкой» полтора часа (сдвоенный урок) Маринэ пролежала на диване, уткнувшись лицом в жёсткую колючую обивку.

Потом вытерла слёзы, поплескала на лицо холодной водой, с тяжёлым вздохом сунула в сумку коньки и отправилась на каток. Вот тогда-то она и заимела свой первый перелом (со смещением, потому что тренерша, как всегда, на неё наорала, а Маринэ, как всегда, поднялась и попыталась катать программу дальше), оказавшийся для ледовой карьеры последним.

Это случится через год. А пока – жизнь идёт своим чередом, уроки сделаны (муторно и с души воротит), телевизор остаётся мечтой (мечта сбывается в воскресенье), гимнастика сделана. Отец установил для неё в прихожей шведскую стенку и повесил гимнастические кольца, просверлив потолок дрелью, и верхние соседи приходили ругаться, потому что им пришлось замазывать дыры цементом. Гиоргис с раскаянием извинялся, прикладывая руки к груди и качая головой, после чего с нескрываемой гордостью продемонстрировал гостям домашний спортзал.

А когда они, вконец обескураженные неожиданным гостеприимством (пришли со скандалом, а им обрадовались, и получилось нечто вроде знакомства), собрались уходить, Гиоргис замотал головой «Так дела не делаются. Только пришли и уже уходите, хозяина обижаете!» – и «пригласил друзей» в гостиную, где Регина накрывала на стол.

На белоснежной, расшитой серебряными цветами скатерти стояли тарелки с закусками: пхали из шпината с грецкими орехами, жареный сыр, маринованные баклажаны с перцем, солёный лук-порей, бастурма, холодная курятина, солёные грузди. В воздухе витал «ресторанный» аромат – дивный, дразнящий, вползающий в ноздри. В глиняной красивой миске исходила ароматным паром горячая картошка (и когда успела сварить?!), а над всем этим великолепием возвышались, как средневековые башни над древним городом, армады бутылок – легендарный грузинский «Греми», сухие

«Мукузани» и «Саперави», десертный абхазский «Чегем», ирландский виски и знаменитая водка «Мороз» (спирт класса «Люкс», три ступени очистки).

Не успевшие опомниться «скандалисты» были усажены за стол и, наколов на вилку сразу пару хрустящих солёных груздей, провозглашали тосты за здоровье прекрасной хозяйки, благополучие хозяина дома и здоровье его красавицы-дочки...

«Иди в свою комнату, и чтобы через пять минут погасила свет. Иначе не выспишься и будешь на катке досыпать, а мы за него деньги платим, и между прочим, немалые, и тренерше твоей платим, чтоб занималась без поблажек и сюси-пусей. В школе за партой уснёшь, и все над тобой смеяться будут: спит наша Мариночка и во сне причмокивает...»

Отец целовал дочку в лоб, любовно проводил рукой по косам и, легонько подтолкнув к дверям, желал спокойной ночи. Исполнив родительский долг, сел в любимое кресло и смотрел телевизор, а Маринэ уходила к себе и ложилась спать. А что ей ещё оставалось?

Полоса везения

Девяти часов на сон хватало, оставшихся пятнадцать не хватало ни на что. То есть, времени хватало – на коньки, на французский со старушкой-соседкой, взявшейся сделать из Маринэ «настоящую парижанку с беглым франсэ», на домашние задания, школьные и по языку. А больше ни на что не оставалось.

Каток – школа – каток – домой – «Мой руки и за стол, я тебе салатик приготовила, руккола с оливковым маслом, и луковый суп, по французскому рецепту. Что ты морщишься? Не хочешь есть, так и скажи. И ступай заниматься, Мария Антуановна тебя ждёт». Полтора часа французского, «орэвуар, мадам Мари», «орэвуар, мадмуазель», потом делать уроки на завтра, потом перевести текст из Виктора Гюго, мадам Мари отметила карандашом «от сих до сих», без словаря с Гюго не справиться, со словарём тоже.

...«Марина! Сколько можно сидеть! Уже десятый час, неужели так трудно запомнить глаголы? Ужин на столе, я тебе в творог яблочко потёрла, что ты морщишься? не хочешь с яблоком, сделаю с морковкой» (полчаса у телевизора с тарелкой ненавистного творога в руках, полтарелки тайком спускается в унитаз – в ведро для мусора нельзя, увидят и отругают), «в десять чтоб была в постели, если утром не встанешь, телевизора больше не будет».

И тут ей невероятно повезло (или невероятно не повезло, вопрос спорный) – она умудрилась неудачно сломать ключицу, так выразился врач, шутник, как будто можно сломать плечо удачно... – «Ааа-аа, не надо! Больно!» – «Придётся потерпеть. Я должен поставить на место кость. Это будет недолго, ещё чуть-чуть и всё» – врал хитрый врач и мял безжалостными пальцами горящее адской болью плечо, словно ему нравилось причинять боль. Маринэ пищала бесконечное «аа-а, не надо, ааа-аа!», мать делала строгие глаза: «Марина! Не устраивай здесь концерт. Тебя же учили падать... Ты даже этому не научилась! Хнычешь как маленькая и мешаешь врачу работать» – «Она мне не мешает, пусть поёт, если ей так легче» – заступался за неё врач. Маринэ молча кусала губы и ненавидела обоих.

На плечо наложили гипсовую повязку, и для Маринэ наступили внеплановые каникулы. Плечо под гипсом дёргалось и жгло, температура понималась до тридцати девяти. Через неделю боль притупилась, стала привычной. Маринэ целыми днями валялась в кресле с книжкой (в куклы она перестала играть, когда к конькам добавилось плавание) перед включенным телевизором и смотрела все программы и фильмы подряд. Маринина мама ходила кругами вокруг кресла, в котором бездельничала дочь, и строила грандиозные планы.

– Ничего, это ненадолго, вот снимут гипс, и будешь кататься. Прыгать, конечно, какое-то время не будешь, а кататься можно, потихоньку.

– Не буду, – откликнулась с кресла Маринэ.

– Так и я говорю, прыгать не будешь, – покладисто соглашалась мать.

– Je ne vais jamais sur la glase. Et sile porte – deuxiemepause de bras, maintenantje sais comment le faire (франц.: «Я никогда не выйду на лёд. А если заставите, сломаю второе плечо. Теперь знаю, как это делается») – ледяным голосом отчеканила Маринэ.

(«Волю взяла с матерью разговаривать! Перевести не соизволила, мерзавка, понимай как хочешь. Двенадцать лет, переходный возраст, вот и выламывается. Будет кататься как миленькая»).

– Марина, откуда этот тон? Можно подумать, что ты разговариваешь с одноклассницей. Ремня давно не получала? Смотрю, ты по нему соскучилась. Будешь кататься как миленькая!

Мамин голос крепчал, как ветер в шторм, Маринэ опускала глаза и утыкалась носом в книжку. Неожиданным её союзником оказалась тренер Алла Игоревна, которая понимала, что в Маринином «неудачном» падении виновата она, на тренировке загнала девчонку, не давала отдыхать, а после падения с двойного акселя заставила встать и кататься, не обращая внимания на выражение Маринино лица. Алла Игоревна безоговорочно встала на сторону Маринэ (после такого перелома рука не будет подниматься вертикально, родители этого ещё не знают, и самое время попрощаться). С

коньками было покончено, за что Маринэ была благодарна Аллочке.

На семейном совете ей было сказано, что кататься она худо-бедно научилась (Маринэ обиделась на «худо-бедно», но смолчала), а чемпионкой ей всё равно не стать (это уже удар посильнее), да она и не особо старалась (последнее было обиднее всего, Маринэ не выдержала и всхлипнула).

– Восемь лет козе под хвост! Восемь лет деньги на ветер! Порадовала родителей. Тебя же учили падать... За восемь лет не научилась! У всех дети как дети, а с тобой одни проблемы, за что ни возьмись, ничего не можешь!

(«Папочка, я могу! Просто я очень сильно устала, Аллочка на меня сердилась и орала, и обзывала, а аксель не получался, я с него падала, наверное, раз двадцать. Последний раз очень больно, и хрустнуло что-то, а Аллочка сказала – ничего страшного»)

– Так что коньки – дело прошлое, и не плакать надо, а думать о будущем. Мы тут с матерью подумали... Как снимут гипс, займёшься музыкой, в нашем доме пианино продают, и просят недорого. Инструмент хороший, импортный. Бе... Бехштекс».

Часть 2. Не комильфо

Музыкальный момент

«Bechstein» (Маринэ много лет вспоминала «бифштекс», и каждый раз это было смешно) и впрямь отдали почти даром, и для Маринэ наступили чёрные дни. Нет, она любила играть, любила свой старенький дребезжащий «бехштайн», и после того как выучила ноты и познакомилась со скрипичным (для правой руки) и басовым (для левой) ключами – дело, что называется, пошло. Ключ соль, ключ фа, ключ до и ключ ре стали для Маринэ не просто словами, диезы и бе-моли больше её не пугали, а бекары не вводили в смущение. Выучить итальянские термины оказалось несложно, и всё-таки... Всё-таки это было ужасно.

Маринэ занималась приватно, как выражалась Маринина мама – то есть, три раза в неделю ездила к преподавательнице домой. Лидия Петровна жила недалеко, в двух трамвайных остановках от Маринино дома, но вот беда: она держала ротвейлера, а Маринэ с детства боялась собак.

Когда они с мамой пришли к учительнице в первый раз, Кинга заперли в ванной, он скрёбся лапами, пытаясь открыть дверь самостоятельно, и нетерпеливо повизгивал: ждал, когда его выпустят и разрешат обнюхать гостей. И Ма-

ринэ боялась: вдруг у него получится – открыть?..

В следующий раз Маринэ пришла к учительнице одна и... прилипла спиной к стене: на неё смотрели горящие глаза дьявольского пса-охранника Демьена Торна из «Омена» (книжку отец принёс из библиотеки, Маринэ проглотила её за три дня, потом перечитала ещё раз, потом ещё... и в первый раз порадовалась тому, что сломала ключицу и может без помех насладиться адреналиновой культовой мистикой, которая помогала забыть о жгучей боли в плече).

Лидия Петровна взяла её за руку и повела в комнату. – «Не надо бояться, он не укусит. Он к тебе со временем привыкнет и не будет так смотреть».

Так и повелось: Кинга выпускали из ванной через пять минут после прихода Маринэ («Кинюше там жарко, и вообще, он любит – в гостиной, а эту породу нельзя нервировать... Кинюш, лежи спокойно, ты же видишь, девочка тебя стесняется»), и все полтора часа она сидела на стуле с замороженной от ужаса спиной и думала – о рояле. Если его развернуть, между ней и Кингом был бы рояль... Как было бы хорошо!

– Святый Боже! – патетически восклицала Лидия Петровна. – Боже мой, Марина! Что у тебя с руками, кто тебе ставил руки? уж точно не я! Ты вся зажата, сядь свободнее. И держи спину. И не ложись на клавиатуру! Ты меня угробишь... Что-оо? Устала?! Часа ещё не прошло, не зли меня, Марина... Кинг!! Я тебе что сказала?! На место! Ты нам мешаешь

заниматься. Большой уже, а ведёшь себя как щенок... Маринэ! Сядь свободнее и расслабься. Ты словно трость проглотила!

Но расслабиться не получалось: сзади сопел и топтался ротвейлер, недовольный тем, что хозяйка уделяет столько внимания длиннокосой девчонке, и держит её за плечи, и бьёт по лопаткам, а девчонка морщится (лучше бы Кинюшу по спинке шлёпнула, он любит), и за руку берёт... Нет, сие невыносимо! – И Кинг тихонько рычал...

В конце концов Маринэ не выдержала и пожаловалась отцу, но отец неожиданно принял сторону противника:

– Маринэ! Чтобы. Больше. Я. Такого. Не слышал! Как тебе не стыдно, такая большая девочка – и боишься домашнего пса. Завтра сходишь в зоомагазин и купишь ему подарок, мячик или собачье печенье, вот возьми деньги, купи на все. Он тебя полюбит, и вы подружитесь, вот увидишь.

Собачьи галеты были куплены и приняты Кингом с холодным достоинством. После часа занятий Маринэ полагался пятиминутный перерыв, которым она и воспользовалась для «налаживания отношений». Лидия Петровна тактично вышла из комнаты, чтобы не мешать. Кинг жевал, вкусно причмокивая, и смотрел умильными глазами. Маринэ вздохнула с облегчением.

Покончив с галетами, Кинг вежливо поблагодарил («Урррр, уфф!») – и полез к ней обниматься. От страха Маринэ залезла на рояль и поджала ноги. Кинг, царапая когтями дра-

гоценный инструмент, пытался последовать за ней, Маринэ, онемевшая от ужаса, лупила его ногами по лобастой башке. Оба при этом верещали forte и даже fortissimo (итальянские муз. термины, обозначающие максимальную громкость звучания).

Прибежавшую из кухни на шум Лидию Петровну хватил удар. Маринэ за косы стащили с рояля, прочитали нотацию и швырнули на стул. Кинг за беспредел и непозволительную фамильярность был заперт в ванной на неопределённый срок. Маринэ играла полонез Огинского со слезами на глазах и жалела запертого в ванной Кинюшу (он-то в чём виноват?), поэтому сыграла очень музыкально и была прощена.

Эмоции на поводке

– Ну что ж поделаешь, со временем привыкнешь и не будешь так бояться. Лидия Петровна преподаватель от бога, консерваторию окончила, с концертами полмира объездила... Теперь вот вас учит, спасибо бы сказали лишний раз... А собака что, собаки людей не едят... Маринэ! Лидия Петровна очень тобой недовольна. Ещё раз такое повторится – накажу. Умей сдерживать свои эмоции, ты не маленькая уже, – сказал отец, прочитав запись в Маринином дневнике (Лидия Петровна, как истая служительница музыки, ставила своим ученикам оценки и писала замечания в дневниках, которые родители обязаны были читать «под роспись на каждой странице»). Маринэ взяла себя в руки и держала эмоции, что называется, на коротком поводке.

Через год «поводок» не выдержал. Кинг, чьи объятия она так жестоко отвергла, помнил обиду и упорно не желал признавать Маринэ своей («Много вас тут rrr! rrrразных, и все в «свои» норрровят, пррроходной дворrr устррроили из дома. А я – rrr! ротвейлерrr, а не пудель, мне перед дрррузьями стыдно! Р-rrr!»).

После очередного выплеска Кинюшиных бурных эмоций (схватил в коридоре зубами за пальто и повалил на пол, укунить не позволило воспитание) «приват-классы» закончились истерикой, которую Маринэ устроила родителям и про-

плакала весь вечер и полночи, не в силах успокоиться и перестать.

– Зачем столько слёз, ничего не случилось, он тебя не покусал, ты же сама говорила... Не нравится ездить за две остановки, будешь ездить за восемь, – сказали родители, и Маринэ вздохнула с облегчением. Потому что в восьми трамвайных остановках располагалась музыкальная школа.

После небольшого экзамена, который она выдержала с честью, тринадцатилетнюю Маринэ приняли в третий класс вечернего отделения (всего классов было пять, пятый – выпускной), удивляясь её музыкальности и техничности исполнения (Маринэ сыграла «Насмешку» Яна Сибелиуса, запутавшись в пассажах и находчиво пропустив в середине несколько тактов).

В пятом, выпускном классе она уже свободно играла его «Грустный вальс», «Юношеский этюд ля-бемоль мажор» Ференца Листа, и «Кампанеллу» – почти как Артуро Бенедетти Микеланджели (то есть это Маринэ так думала, поскольку амбиций ей было не занимать).

Больше всего ей нравилось сольфеджио («сольфеджио» в переводе с итальянского означает пение по нотам), потому что там была хорошая компания и можно было развлечься (о том, как они «развлекались» и что по этому поводу думали преподаватели, расскажу чуть позже).

Бабушка Этери

На летние каникулы её каждый год отправляли к троюродной тётке отца в Леселидзе, где у Маринэ было много друзей. В посёлке жили абхазы, грузины, осетины, украинцы и эстонцы, и взрослые называли Леселидзе интернациональным. Дети на национальность не смотрели, игры были общими, непонятные слова объясняли и вполне понимали друг друга, умудряясь знать несколько языков и изъясняться на всех.

У бабушки Этери (которая, собственно, не была Маринэ бабушкой) был свой дом на краю посёлка и большой тенистый двор, в котором росли бабушкины любимые гладиолусы и сиренево—лиловые ирисы. И огород был, и виноградник. Во дворе росло алычовое деревце и несколько хурмин (летом хурма ещё зелёная, незрелая, вырастет, когда Маринэ здесь уже не будет, уедет домой, в Москву), грядки с чесноком, луком и зеленью, за домом – виноградник, в котором поднимались по шпалерам виноградные жилистые плети, а внизу, вдоль шпалер, росли помидоры – места хватало всем.

Ещё во дворе был колодец-журавель, и Маринэ нравилось доставать из него воду, хотя это было нелегко: в высоком прыжке Маринэ взлетала на колодезный журавель и повисала на нём, сложившись пополам (она умела это делать – вперёд, вжимая колени в лоб и обхватив ладонями стопы, и назад, почти касаясь затылком икр, что было совсем уж неве-

роятым зрелищем для поселковой ребятни и исполнялось на бис).

Маринэ весила непозволительно мало для девочки её возраста, журавель упрямился, не хотел поднимать из колодца ведро, а потом не хотел опускаться, но Маринэ не сдавалась и в конце концов научилась. Это была «война ласточки с журавлём», как шутила бабушка Этери.

Маринэ по привычке поднималась в половине шестого, к радости Этери, которой «внучка» помогала с огородом. Успевала и грядки выполоть, и гладиолусы полить из садовой лейки, и с подружками поиграть, и накрасить губы зелёной кожурой грецкого ореха (цвет держался несколько дней, хотя губы стягивало и жгло от йода, который был в ореховой шкурке. Но чего не стерпишь ради красоты!)

Ещё они с соседкой Маквалой и её близнецами Анзором и Анваром ходили в горы за ежевикой, и каждый раз набирали два трёхлитровых бидона. Ежевику съедали во дворе, за большим скобленным столом, запивая ягоды парным молоком. Маквала держала двух коров, бабушка покупала у неё молоко и делала творог, и не понимала, почему Маринэ категорически отказывается его есть и отчаянно мотает головой. Впрочем, сыворотку девочка пила с удовольствием – кисленькая, холодненькая, разбавленная колодезной водой, она незаменима в жару: питьё и еда одновременно.

Ещё они играли через ворота в мяч, по пять человек с каждой стороны, и наоравшись и напрыгавшись до изнемо-

жения, отправлялись всей интернациональной ватагой к морю, прихватив с собой соседского Байкала – рыжую кавказскую овчарку, чистопородную и потому необыкновенно умную и воспитанную.

У Байкала своя история, которая заслуживает того, чтобы её рассказать: щенка, «грузинской» рыжей масти принесла в дом бабушка Маквалы. Свой поступок бабушка объяснила просто: она уже старенькая и скоро их оставит, а пёс вырастет и будет как память – о ней. И помощником будет незаменимым.

Так и случилось: бабушка умерла в том же году, а Байкал вырос красивым и умнейшим псом, сторожил дом и нянчился с близнецами, не позволяя им открывать калитку и хулиганить, но разрешая делать с собой всё, что им вздумается. Бабушкина памятка, рыжий мохнатый красавец Байкал, светлая тебе память.

Море было в двух шагах, от бабушкиного дома полчаса ходьбы. Перейдёшь Адлерское шоссе, держа Байкала за ошейник и чувствуя, какой он тёплый под густой и мягкой шерстью, – и вот оно, море! Купайся сколько влезет. Маринэ плавала как дельфин, и буйки замечала только когда плыла обратно.

Лёд не комильфо

Но лето кончалось, а вместе с ним «кончались» друзья, поскольку дома Маринэ было не до них, она ничего не успевала («Занимайся как следует, и в кого ты такая несобранная!»). С пятого класса в школе «пошёл» английский язык, который у Маринэ тоже «пошёл» и она самым серьёзным образом пыталась переводить Джона Китча на французский, тайком от всевидящих родителей. Получалось неплохо, и хотя дальше подстрочника дело не шло, Маринэ не отчаивалась. Ничего, потом получится.

В классе её любили – никто не мог перевести текст лучше, и Маринэ с удовольствием помогала одноклассникам, переводя оба заданных варианта, что называется, под копирку.

– Маринка, вот скажи, чего ты не умеешь? – спрашивала её соседка по парте, черноглазая Галя. Маринэ пожимала плечами и хмурила длинные брови.

– Машину водить.

– Ага, скажи ещё, что вертолёт не умеешь водить и самолёт. И катер!

– Самолёт не могу, а катер могу, я летом научилась. У Пятраса отец в яхтклубе работает, он Пятраса учил, и меня заодно научил.

– А он кто? Имя такое странное...

– Да никто, говорю же, сосед. Справа тётя Маквала живёт,

а слева Яннис Густавович. Я по-эстонски понимаю немного, Пятрас меня научил, – похвасталась не любившая хвастаться Маринэ, и Галя посмотрела на неё с уважением. Тише воды ниже травы, а катер водить умеет! И понимает по-эстонски. Врёт, наверное.

Маринэ умела всё: плавала всеми известными стилями, играла на пианино «Dla Elizu» Бетховена на школьных вечерах, неплохо танцевала (Маринэ блестяще каталась на коньках, тренер честно отработывала деньги, а танцы ей ставил хореограф, Маринин папа заплатил ему за дополнительные занятия. Маринэ считала, что дополнительные занятия – это уже слишком, но её никто не спрашивал).

В девятом классе они с Галей всю зиму ездили на каток «Дружба» на Воробьёвых Горах (которые тогда назывались Ленинскими). Воскресенья были для Маринэ праздниками, она с удовольствием садилась за пианино, с удовольствием занималась танцами в клубе (Арчил Гурамович проводил для желающих показательные уроки – танцевал с партнёршей, ученики смотрели и повторяли) и весь день мечтала, как вечером будет кататься – целых три часа!

Родители против катка не возражали («в школе шесть уроков в день, плюс музыка, плюс танцы, вечерами уроки и рояль, в воскресенье рояль, спортзал и фламенко... Пусть девочка отдохнёт»). Они радовались тому, что Маринэ снова встала на коньки, но не понимали, зачем было выбирать дорогой каток, когда можно покататься за двадцать копеек в

Парке Культуры?

В ответ Маринэ гневно заявила, что в Парке Культуры «лёд pas comme il faut (франц.: не комильфо) и слишком мягкий, дорожки inconfortablement (франц.: неудобны) и все в буграх, освещение плохое, а публика mal alevé (франц.: дурно воспитана). Отец крякнул и потребовал перевести. Маринэ мстительно перевела на грузинский, чтобы мать не поняла. Регина поджала губы: вырастили негодяйку. Отец задумался.

Но выдвинутые аргументы говорили сами за себя («говорили» на парижском французском!), и каждую субботу Гиоргис торжественно выдавал дочери две трехкопеечных монетки на трамвай (туда и обратно), два пятака на метро (туда и обратно) и рубль, который Маринэ отдавала за входной билет на каток.

Часть 3. Двойной аксель

Каток

Каток открывался в восемнадцать ноль-ноль, лёд *comme il faut* и можно кататься до десяти вечера, но они с Галей уходили в девять: возвращение домой позже десяти каралось бралдэбулис сками (по-грузински – скамья подсудимых, а по-русски – не будет никакого рубля, никакого катка).

Три часа на коньках Галя выдерживала с трудом, периодически отсиживаясь в буфете, где она поглощала невероятное количество песочных пирожных, заедая их бутербродами с докторской колбасой и запивая сладким кофе.

– Галя! Опять в буфет? Ты же только что оттуда!

– Где – только что? Я уже полчаса катаюсь, у меня ноги замёрзли и кофе хочется. Тебе разве не хочется?

Маринэ качала головой, отказываясь. Не могла же она признаться, что хочется, но у неё нет денег, только восемь копеек на обратную дорогу. Пить кофе за Галин счёт было стыдно, да и калории в буфете рукоплещут и скандируют. Арчил выгонит её из ансамбля, даже разговаривать не станет, посмотрит на стрелку весов и укажет на дверь. И отцу позвонит. Дома за такое убьют сразу, даже ругать не будут...

– Ты ешь, ешь, не стесняйся. Будешь как снежная баба!

– Не хочешь, как хочешь, я пошла...

На негнущихся ногах Галя плелась в буфет – заедать пирожными «снежную бабу». Она с удовольствием уехала бы домой, но спорить с Мариной бесполезно: прокатавшись три часа, она уходила с катка со слезами на глазах – «Ещё бы часочек, и всё, и больше не надо...»

– Марин, неужели ты не устала?! Я – как бобик, на все четыре лапы хромаю, – признавалась подруге Галя. Маринэ молча пожимала плечами и морщилась («Правое плечо, где твоя совесть, когда же ты заткнёшься? Будешь ныть, упаду и сломаю ещё раз, помяни моё слово!»)

Конечно, бутерброд с кофе был бы очень кстати, но о буфете Маринэ даже не заикалась, тема закрыта: или буфет, или фламенко (Маринэ занималась танцами с четырнадцати лет, хотя поначалу особого желания не проявляла. Но её мнение никого не интересовало: руководитель ансамбля был другом отца, и всё как всегда решили за неё). Через год Маринэ, что называется, втянулась, несмотря на ежедневные шесть уроков в школе и домашние задания, на которые катастрофически не хватало времени, хотя она сидела за уроками дотемна.

Маринэ нравилось танцевать испанское фламенко, которое так просто не станцуешь: это вам не летка-йенка и не вальс «и – раз, два, три, и – раз, два, три», под который топчутся по площадке, стараясь не наступать друг другу на ноги. Фламенко это целое искусство. Фламенко – это минус пи-

рожные, минус кофе и минус бутерброды с колбасой. Без кофе и пирожных обойтись можно, а без танцев... Без танцев она не сможет.

Кроме всего прочего, Кобалия не упустит возможности и скажет про неё отцу: «Гоги, твою дочь распирает, как тесто на дрожжах. Что, скажи на милость, мне с ней делать?». Мать скривит красивые губы (Регина очень красивая, почти как Лилита Озолия, Маринэ немного на неё похожа, хотя брови у неё отцовские, и губы тоже) и скажет что-нибудь насчет булимии, которую надо лечить, а отец промолчит... и больше не даст ей денег, и придётся три воскресенья в месяц кататься (на сэкономленных на трамвае копейках) на буграх и колдобинах Парка культуры и отдыха... Ну уж нет! От такого отдыха можно остаться без ног. А без буфета вполне можно обойтись, не очень-то и хочется, можно потерпеть. Зато нормальный лёд и музыка нормальная.

– Марин, тебе не надоело кататься? Пойдём, погреемся.

– Я на льду погреюсь, и тебе советую. Ты как мёртвая катаешься! (любимое выражение бывшего Марининого тренера, Аллы Игоревны, в просторечии Аллочки, вспомнилось как нельзя кстати) – Хочешь, научу? Давай руку...

– Ой! Ай!! Ты что творишь?! Я же упаду, я боюсь... Что значит, ничего страшного? Это тебе ничего, а мне больно... Маринка!! Не так быстро, куда мы с тобой разогнались, на пожар, что ли? Ой, я сейчас упаду! Ты меня уронишь, руку отпусти... Ай! Ох... больно как! Говорила же тебе... Теперь

синяк будет («Будет, и не один, мне ли не знать...»)

– Ну и наплевать, зато кататься научишься.

– Я и хочу кататься, а падать не хочу, – капризничала Галя, ей бы Аллу Игоревну, со льда не поднималась бы.

– Не любишь падать, не падай! – озвучивала Маринэ ещё один Аллочкин перл, и Галя тарщила на неё глаза, пытаясь понять смысл сказанного.

Двойной аксель

Галя, запыхавшаяся после «обучения», ошеломленная скоростью, с которой она каталась (летела надо льдом, держась за Маринину руку), плюхнулась на деревянную скамейку, не помышляя больше о буфете и во все глаза глядя на Марину: на такой скорости умудряется не падать, и ноги на ходу меняет, и задом едет... Как хочет, так и едет! Интересно, где она научилась так кататься?

– Марин, почему ты не падаешь? Я три раза уже шлёпнулась, а ты ни одного. Вот бы мальчишки посмотрели, не стали бы тебя пай-девочкой дразнить. Слушай, а ты где так кататься научилась? – приставала Галя и слышала в ответ:

– Пусть дразнят, я уже привыкла и на дураков не обижаюсь.

– А прыгать умеешь? – не унималась Галя. – Тулуп, лутц и этот, как его...флинт?

– Флип. А ты разбираешься! Те, что ты назвала, это зубцовые, а есть ещё рёберные – сальхов, ритбергер и аксель.

Марин, какие ещё рёберные? Я только названия знаю, а больше ничего не знаю... Марин, покажи, а? Ну, хоть разочек...Один раз, Маринка! Аксель – слабо?

Галя, похоже, знает, о чём говорит. Или угадала случайно? Что называется, берёт «быка за рога», аксель ей подавай. Вот уж – что угодно, только не аксель. С него-то Маринэ и

упала, «журавлик отправился в полёт», как цинично выразилась Алла Игоревна.

Прыжок – обязательный элемент в фигурном катании – выполняется обычно с левой ноги с приземлением на правую, исключая ритбергер (выполняется весь на правой ноге: правый рёберный стопор, вращение на правой, приземление на правую). У Марины хорошо получался сальхов (заход с дуги назад внутрь), а аксель не получался, потому что она устала и вместо того, чтобы сосредоточиться на прыжке, думала о том, что вечером её ждёт франсэ и уроки на завтра...

Аксель – самый трудный из всех прыжков, выполняется после мощного разбега на скорости пять-шесть метров в секунду. Если неправильно выполнить аксель, сильно ударяешься о лёд на хорошей скорости. Маринэ устала падать и ударяться, тело превратилось в один сплошной синяк и невыносимо болело, а Алла Игоревна не устала повторять: «Марина, что ты вытворяешь?! Соберись, наконец! Плохо сегодня катаешься, очень плохо. Пока не прыгнешь двойной аксель, домой не пойдёшь. Давай, ещё раз!»

...Самый трудный – аксель, единственный из прыжков, который выполняется на движении вперёд: с левой ноги вперёд с приземлением на правую ногу, рёберный стопор сменяется зубцовым, который обеспечивает хорошую высоту прыжка.

В тот чёрный день Маринэ прыгнула двойной аксель в два с половиной оборота, что называется, на последнем вдохе.

Ноги у неё сильные, тело лёгкое (вес ниже нормы), вот только сил уже не осталось – Маринэ взвилась высоко вверх и... приземлилась на жёсткие руки. «Жёсткими» руки быть не должны ни в коем случае, можно повредить плечо, и голову тоже можно. Что Маринэ и сделала – правая рука ударилась о лёд и скользнула по нему в сторону, подставив под удар правое плечо и голову.

Сотрясение мозга прошло (это не очень приятная вещь, всё время тошнит и всё время плохо), плечо напоминало о себе до сих пор, но Маринэ нашла выход – не падала. И не прыгала аксель. Она вообще больше не прыгала, только сальхов иногда, исключительно ради удовольствия. И не при Гале, с неё станется, растрезвонит на всю школу...

– Не смогу. Мне падать нельзя, у меня плечо... Я его сломала, немножко, уже зажило, только правая рука... Она ничего, но до конца не поднимается, – путано объяснила Маринэ. И заглянув в Галины глаза, из которых враз исчезло веселье, поспешно добавила:

– То есть, я могу поднять, но немножко больно. Врач сказал, это пройдёт, – вдохновенно врала Маринэ. Не «немножко» и не пройдёт, но Гале этого знать необязательно.

– А если ты на него упадёшь? – встревожилась Галя. – Ты же как ненормальная катаешься...

Маринэ молча пожимала плечами и отрывалась, что называется, по полной программе, не зря она училась восемь лет. Ногам было радостно «вспоминать», и они «входили во

вкус» раньше самой Маринэ...

Часть 4. Партерные поддержки

Кастинг

Одноклассникам знать об этом не обязательно, как и о танцах, которыми она занималась всерьёз. А ведь не хотела! Спасибо отцу – настоял на своём и, крепко взяв строптивую дочь за руку, отвёл в Клуб детского творчества, на кастинг в студию фламенко к Арчилу Гурамовичу Кобалии (и наверняка заплатил, чтобы учил дочку «как следует» и не давал расслабляться, Арчил гоняет её больше других, как призовую лошадь на скачках).

В студию фламенко (самодеятельный, или, как говорил Кобалия, околопрофессиональный ансамбль с громким названием «Легенды фламенко», руководитель с бурным прошлым – хореографическое училище, затем академия хореографии и две операции на ногах, партнёрша руководителя – с ещё более бурным прошлым) Маринэ приняли после унижительного осмотра в облегающем тонком трико.

Маринэ, которой исполнилось четырнадцать, выдержала «экзамен» сцепив зубы, молча выполнила всё, что от неё требовал Арчил Гурамович молча вытерпела на себе его руки, когда он «поправлял движения».

Арчил Кобалия, в просторечии Коба, танцевал как Хо-

акин Кортес (легендарный испанский танцор фламенко) и гонял их в хвост и в гриву по три часа ежедневно, с пяти до восьми вечера. После чего «артисты» (которым все три часа убедительно втолковывали, что они ни на что не способны и до профессионалов им как до звёзд) отправлялись в душ. Душевые в клубе, слава богу, были, иначе как же домой ехать...

Клуб находился в полчаса ходьбы от Маринино дома, так что она всегда возвращалась домой пешком (зачем тратить деньги зря, за месяц из трёхкопеечных монет, выданных отцом на трамвай, набиралось полтора рубля, и можно было «кутить»).

«До свиданья, Арчил Гурамович» – «Аста ла виста, амигос, завтра прошу не опаздывать и на занятиях не спать, а танцевать».

На ужин творог без сахара (лаваш в уме), потом час за пианино (по вторникам и пятницам полчаса), потом делать уроки на завтра, «в одиннадцать чтобы была в постели, сон обязателен для восстановления организма», какая трогательная забота о её здоровье!

Хоакин Кортес

По вторникам и пятницам к танцам добавлялась музыкальная школа. Занятия начинались сразу после уроков, Маринэ едва успевала. – «Марина, pietus ant stalo» (лит.: обед на столе) Маринэ усмехается – кто же танцует с полным желудком? – «А сіу, мама, as neporiu» («Спасибо, мама, я не хочу»). Когда отца нет дома, мать переходит на родной литовский. Маринэ понимает, но не всё, и тогда Регина качает головой и сквозь зубы повторяет по-русски, и Маринэ чувствует себя виноватой. Вот и сейчас, проглотив под пристальным взглядом матери четыре ложки супа и буркнув «спасибо, мама, было очень вкусно», вскакивает из-за стола и вылетает из дома ракетой. Какая гадость мамин суп из спаржи, за которой Регина ездит через день на рынок, и не лень ей... Ничего, вечером творога поест, должна же она что-то есть. Маринэ согласна – на нелюбимый творог, спаржу с противным оливковым маслом (мама покупает нерафинированное, полезное, гадко пахнущее) – Арчил Гурамович обещал им гастрольную поездку в Испанию, поедут не все, только лучшие. За Испанию она согласна на всё.

Ей нравилось смотреть, как Арчил танцует *canto grande*, нравился их танцевальный коллектив, а испанская гитарная музыка приводила её в восторг. Занятия фламенко открыли для неё новый мир, да что там мир – целую вселенную! Юж-

но-испанская (андалусийская) гитарная музыка, длинное облегчающее платье для танцев, с традиционными оборками и воланами (воланы Маринэ решительно отрезала, оборки были милостиво оставлены) и шаль-мантон с длинными-преддлинными кистями.

Canto grande – высокий стиль, один из видов фламенко. Есть ещё облегчённый, cante chico. Кобалия отдавал предпочтение cante hondo/jondo (глубокий и серьёзный драматический стиль) и не представлял фламенко без элементов классического балета, от души нагружая ими canto grande. Так что осилить «высокий стиль» могли немногие, и в ансамбле процветала «текучесть кадров».

Кобалия не сдавался и набирал новых учеников, с «нормальной» растяжкой, «какой-никакой» гибкостью и «нормальным» весом «рост минус сто пятнадцать». На занятиях он никогда не зашторивал окна и, завидев прильнувшие к стеклу любопытные физиономии, всякий раз повторял: «Взгляните в окно – на вас смотрят и завидуют!» (практика доказывала обратное, и после месяца занятий ученики нередко переходили в категорию «смотрящих»).

Танцевали танго, тангильо, тьенто, фанданго и севильян, отбивая каблуками по деревянному настилу ритм испанской гитары (прищёлкивания пальцами и хлопки ладонями прилагаются). Арчил Гурамович любил двенадцатидольные ритмы (сигирия, солеа, ливьянос, серрана, кабалес) и классический балет. Последний требовал классического подхода,

трёх часов в день было до смешного мало, подготовка учеников оставляла желать лучшего, но Кобалия клятвенно обещал им поездку в Испанию на «Биеннале фламенко» (фестиваль фламенко в Севилье, который проводится один раз в два года) – для тех, кто не ленится и приходит на воскресные занятия. Кроме биеннале, планировалась гастрольная поездка по Испании. С гастрольями не получалось, и они откладывались на неопределенный срок.

Злой волшебник

По четвергам Маринэ появлялась в студии с полуторачасовым опозданием: в этот день в музыкальной школе было сольфеджио и музыкальная литература. Сольфеджио с четырёх, перемена на двадцать минут, музлитература до шести, бегом на трамвай – и *canto grande* (исп.: высокий стиль, один из видов испанского фламенко) до восьми вечера. О музыкальной школе Арчил Гурамович знал, и проблем у Маринэ не было, «в воскресенье жду на дополнительные занятия, придёшь на два часа раньше и отработаешь пропущенные полтора».

Воскресенье – это два часа в спортзале, а потом занятия с группой. Арчил утверждал, что разминка на спортивных снарядах ничуть не хуже балетного станка, тем более что растяжка у Маринэ из разряда «более чем», а зал в воскресенье свободный, грех им не воспользоваться. Итак, долой танцевальное платье (длинное бледно-голубое чудо с оборками в два яруса, подаренное ей отцом – к неудовольствию матери, которая считала, что её портниха сшила бы не хуже).

– «Марина, не возись!» – командовал Арчил. – Платье сняла, обувь сняла, трико надела, подошла ко мне» – получасовая партерная гимнастика, потом сорок минут на снарядах (разминку Кобалия целиком составлял из силовых упражнений, не тратя времени «на ерунду»): Маринэ на шведской

стенке (Арчил на брусьях); Маринэ на кольцах (Арчил не снимает рук с её талии, боится, потому что Маринино правое плечо ноет, как больной зуб. – «Это хорошо, что больно, сустав разрабатывать надо, куда врачи смотрели, о чём думали!»), наконец долгожданное приказание: «Отпустила руки». Маринэ послушно разжимает пальцы и... медленно скользит вниз, а руки Арчила Гурамовича медленно скользят вверх по её телу в тонком трико, и с этим ничего нельзя сделать!

Кобалия смотрит на её горящие щёки и говорит ласковым, добрым голосом: «Молодец, девочка, всё хорошо, не надо стесняться. А теперь соберись с силами, и – на брусья, только не говори мне, что не можешь».

Партерные поддержки

На брусьях ей ничего не остаётся, как только вспоминать. Самое любимое воспоминание – о том, как она собирала в горах магхвали (ежевику) с бабушкой Этери, соседкой Маквалой (чьё имя переводится как «ягода») и её близнецами. Главное, не думать о боли в плече, о том, что Арчил стоит рядом и ждёт, когда Маринэ не выдержит и свалится (брусья после колец – это жестоко, потому что у неё болит плечо и устали руки, и Арчил знает, что она непременно упадёт, а он не даст ей этого сделать – и Маринэ снова окажется в его руках...)

Может, рассказать отцу? Но они с Арчилом дружны, Арчил скажет папе, что это простая партерная поддержка, а «девочка выдаёт желаемое за действительное» и отец будет над ней смеяться, как смеялись близнецы, когда бабушка налепила вареников с ежевикой и забыла положить в начинку сахар. Вареники получились такими кислыми, что их никто не мог есть, кроме Маринэ (ничего, что кислые, дома и таких не допросишься). Маринэ макала вареники в сметану и задала сахаром, но ей всё равно было кисло. Маринэ морщилась, а близнецы над ней смеялись и называли ткбили, сладкая...

...Сил не осталось совсем, руки не желали слушаться, пальцы разжались сами собой, Маринэ соскочила с брусьев

и оказалась в сильных руках Кобалии. Опять – в его руках, и с этим ничего нельзя сделать...

К чести Арчила Гурамовича, заставляя Маринэ заниматься буквально до упаду, он ни разу не дал ей упасть. Вот и сейчас – подхватил и поставил на ноги, продолжая держать – левой рукой за спину, правой поперёк груди.

– Эх, ты... Цыплёнок табака! Больше каши надо есть и больше заниматься. Окончишь школу, я за тебя возьмусь, – пообещал Арчил, не выпуская Маринэ из рук, и она вздрогнула от отвращения. Словно не замечая этого, Арчил перехватил её поудобнее, и Маринэ оцепенела от стыда и гадливого ужаса.

– Ты падаешь так неожиданно, что поддержки у нас получают более чем!

Маринэ дёрнулась и попыталась вырваться, руки Арчила пробежали по её телу, словно проверяя, всё ли на месте, и после тщательной проверки наконец отпустили.

– Всё, всё... Вижу, что больше не можешь, – как ни в чём не бывало сказал Арчил Гурамович. – Марш на скамью! Соberись, Маринэ, уже немного осталось. Зато в Испании мне не придётся за тебя краснеть».

(Никакой он не Хоакин Кортес, он коршун Ротбарт, злой волшебник из «Лебединого озера», но заколдовать Маринэ ему не удастся: она закончит школу и уйдёт из ансамбля. Пусть с Миланой своей... танцы танцует, а Маринэ будет с Отари).

Наступала очередь гимнастической скамьи, на которой полагалось «качаться» (работает брюшной пресс, бёдерные и икроножные мышцы, а руки отдыхают от колец и брусьев. Арчил на другом конце скамьи тоже качает пресс и ноги, без них – какие танцы...)

Наконец скамья придвигалась к стене, Арчил садился и вытягивал ноги (Маринэ это называла – «устроился удобно»). Маринэ надевала бледно-голубое платье, Арчил включал магнитофон с гитарным сопровождением, и развальясь на жесткой скамье с видом сибарита, сидящего в мягком кресле, в течение следующих сорока минут лениво отпускал обидные замечания и колкости на её счёт, а Маринэ отрабатывала пропущенную в четверг половину урока.

Затем повторялась сорокаминутная разминка: трико вместо платья, кольца вместо танцев, сорок минут это немного, пролетят – не заметишь...», – утешал Маринэ Арчил, ласково поглаживая по плечам.

Сорок минут – это четыре раза по десять. Шведская стенка и руки Арчила. Гимнастические кольца и руки Арчила. Он снова не дал ей упасть, схватил в охапку, улыбнулся ободряюще, крепко сжал. Через тонкое трико она чувствовала его горячее тело и в жарком смятении думала, что лучше бы она упала, пусть бы упала... На брусьях её мечта сбылась, Кобалия о чём-то задумался, и Маринэ, не удержавшись, шлёпнулась на постеленные маты. И наконец – гимнастическая скамья. И тяжёлый, липнущий к телу взгляд Арчила. Смот-

рит как гиена на добычу. Нет, она всё-таки скажет отцу... Или не скажет. Сорок минут закончились.

И заслуженная награда – вожденная душевая. Отвернув до отказа оба крана, Маринэ двадцать минут стояла под колючими холодноватыми струями (двадцать минут в раю, упёршись в стену руками и закрыв глаза). Потом надевала голубое платье и садилась на скамью, чувствуя себя где-то между землёй и небом...

Потом приходили все остальные участники ансамбля, приезжала на вишнёвой «ауди» партнёрша Кобалии Милана (Кобалия в папином возрасте, Милана лет на десять моложе), и после блестящего выступления «упавших с неба звезд», за которыми следовали дружные аплодисменты, начинались собственно воскресные занятия. Выдержать их Маринэ помогала мысль, что вечером они с Галей поедут на каток.

Часть 5. Сольфеджио

Поклонник Мануэля Бареко

Но – вернемся к урокам сольфеджио. В Марининой группе было восемь учеников, поровну мальчиков и девочек. Четыре пары, как необдуманно лягнула молодая преподавательница музыкальной литературы (на литературу группа приходила в том же составе). К удивлению учительницы, они не желали делиться на пары, упорно оставаясь группой – дружной и спаянной: три пианистки, скрипачка, два виолончелиста, флейтист и аккордеонист.

Последний оказался довольно дерзким и называл «девчонскую команду» не иначе, как «четыре неразлучных таракана и сверчок», за что тараканы не обижались, а сверчок грозился обломать об Отара смычок. Да, в довершение ко всему «возмутителя спокойствия» звали Отаром, по национальности лезгин или осетин, чёрт их разберёт, по лицу абрек, позавчера спустившийся с гор, по интеллекту намного выше своих ровесников, явные способности к музыке, идеальный слух, длинные сильные пальцы и неповторимая (непоправимая!) харизма.

Кроме класса аккордеона, Отар занимался по классу гитары, совершенно бесплатно. Пришёл в класс гитары и при-

знался преподавателю, что «бренчать» на гитаре в принципе умеет, но хочет научиться играть как Мануэль Бареко, а денег у него нет, поскольку мать платит за музыкальную школу (аккордеон), отец за спортивную (бокс), у самого же Отара акче булунмамак (турецк.: отсутствие денег). И находчиво предложил опешившему гитаристу оплатить занятия...лет через пять, когда он вырастет и пойдёт работать. Заплатить Отар обещал по повышенному тарифу. Что называется, с походом (так на рынке взвешивают товар постоянным покупателям, снимая с весов пакет и щедро добавляя горсть-другую чернослива, орехов или кураги).

Отказаться от такого выгодного предложения гитарист, как вы сами понимаете, не смог, и Отар – единственный в школе – занимался по классу гитары бесплатно (иными словами, нелегально, без ежегодных экзаменов и без выдачи свидетельства об окончании класса гитары).

Молодого преподавателя подкупило знание двенадцатилетним Отаром турецкого, вполне сносное владение гитарой, красивые длинные пальцы и то, что мальчишка-лезгин не понаслышке знает о Мануэле Бареко. Отар бредил гитарой и Эйтором Вила Лобосом, и гитарист просто его пожалел – «отдали» парня на аккордеон, на котором Отар играл стискивая от омерзения зубы.

Возмутители спокойствия

Что до хулиганов в группе, ими были уже знакомый нам Отар и... Маринэ. «Возмутители спокойствия» удивительно подходили друг другу: черноглазый Отар и чернокосая Маринэ. По паспорту она была Маринэ. Маринэ Георгиевна Метревели, фамилия не вполне соответствовала внешности, так как на грузинку она была похожа меньше всего, а на кого она была похожа – сказать не мог никто (мать из Литвы, отец из Абхазии, то ли грек, то ли грузин, кто их разберёт).

Тоненькая, с неувлимой грацией движений и столь же неувлимым акцентом, с длинными, почти до пояса, косами и черными бровями врзлёт, Маринэ всем пришлась по душе и, можно сказать, оправдала ожидания: у неё был почти абсолютный слух (прим.: абсолютный слух – это не воспроизведение мелодии голосом, это когда слышишь тональность звучания). Маринэ слышала тональность и записывала мелодию, что называется, навскидку.

Что до хулиганства – оно заключалось в том, что Маринэ не составляло труда написать все три варианта диктанта. Музыкальный диктант – это мелодия, которую учительница играет несколько раз на рояле, а учащиеся записывают её в нотных тетрадах в виде нот в заданной преподавателем тональности.

Требуемые тональностью диезы и бемоли расставляли

коллективно, всей группой, после чего, затыкая пальцами уши, когда звучал «чужой» вариант, писали свой, нещадно грызя карандаш и выплёвывая опилки.

О выходках Отара Темирова поговорим чуть позже.

Маков цвет

Маринэ максимально упростила группе задачу, в считанные минуты записывая все три варианта музыкального диктанта и передавая листки по рядам. Ирина Львовна пошла ва-банк и вместо трёх вариантов сделала пять. Маринэ долго вздохнула и справилась с пятью.

– Ну и что мне с вами делать? Восемь вариантов задавать, каждому персонально? Вы дождётесь! – пригрозила Ирина Львовна и услышала в ответ:

– А Маринка восемь напишет.

– Смело. Вот потому и не буду. А тебе, Марина, стыдно так себя вести, шестнадцать лет, давно пора стать взрослой.

– Пятнадцать, шестнадцати нет ещё, – уверенным баском возразили с задней парты.

– Ну, Отар лучше знает, – улыбнулась Ирина Львовна, и Маринэ залилась краской.

– Марина красная, как маков цвет, – добила её учительница. Маринэ сгребла с парты тетрадку и карандаш, сунула в портфель учебник и выбежала из класса. Ирина Львовна поняла, что перегнула палку.

Отар молчал, мял в руках карандаш. Раздался хруст. – «Ирина Львовна, карандаш сломался. Можно взять?» – Встал из-за парты, прошел к роялю, где стояли в стакане остро оточенные карандаши, вернулся на место. Кррак! –

«Ирина Львовна, можно ещё взять?»

– Можно. Но можно выйти, ведь ты *этого* хочешь, Отар? И возвращайтесь дописывать диктант, оба. Так. Группа, прекратили ломать карандаши, у вас это вряд ли получится, для этого пальцы железные нужны... Пишем все диктант. На этот раз придётся самим, эта парочка вряд ли вернётся. Нннда.

Открылась дверь, и в класс вошла Маринэ. Прошла, глядя в пол, села за свою парту и принялась водить карандашом по нотным строчкам. Вслед за ней тенью скользнул Отар, сверкнул на класс злыми глазами и тяжело уселся на своё место. «Привёл, надо же! А девочка его слушается, хотя он младше на целый год. Издержки воспитания... Ну что ж, спасибо ему, исправил мой педагогический промах» – улыбнулась Ирина Львовна. Отар заговорщически ей подмигнул и, опустив глаза, занялся диктантом (Маринэ умудрилась передать Отару его вариант, иначе бы его в конце концов исключили из школы, а Маринэ этого не хотела).

Урок продолжался, диктант каждый писал самостоятельно. Маринэ сидела, сложив на коленях руки – давно написала свой вариант и теперь маялась без дела в ожидании, когда окончится урок. Ирина Львовна едва сдерживала улыбку: нечем девочке заняться...

Вот это удача!

Маринэ всё сходило с рук: Ирина Львовна восхищалась её умением писать диктанты престо кон фуоко (итал. муз. термин: «быстро и с огнём») и закрывала глаза на многое. Но однажды Маринэ с Отаром «перешли границы»...

Это случилось в конце мая. Стояла необыкновенная, прямо—таки африканская жара. Маринэ, привыкшая к абхазскому горячему лету (тридцать восемь градусов в тени и сорок два на солнце ни у кого не вызывали удивления), только пожимала плечами, Отар как всегда молчал, остальные совсем скисли.

Группа в полном составе сидела и лежала в тени огромной берёзы, дожидаясь Ирину Львовну, которая почему-то опаздывала (в учительской сказали, что она «задержится минут на двадцать пять, что-то там с ребенком, но занятия не отменяются» и велели им «погулять»). Маринэ с Отаром хватало времени, чтобы воспользоваться неожиданной удачей. А изобретательности им хватало всегда.

– Айда за мороженым! Мы тут в асфальт вплавились, а Ирка гуляет (называть так Ирину Львовну они позволяли себе только когда она была далеко). – Ну, кто пойдёт? Или нам с Маринкой одним?.. Боитесь, что горло схватит и петъ не сможете? Да ни фига! С одной пачки ничего не будет, мы с Маринкой каждый день едим, и ничего (Маринэ при этих

словах опустила голову, сосредоточенно разглядывая пряжку на туфельке и изо всех сил сжимая губы).

К приходу Ирины Львовны группа сидела в классе, вполне довольная жизнью.

– Ну, приступим, – обратилась она к классу – Хочу извиниться перед вами за опоздание. Мне из садика позвонили, Мишенька пуговицу откусил и пп-проглотил, и я... Я чуть с ума не сошла! – Ирина Львовна всхлипнула, вновь переживая ужас случившегося. Группа сидела с каменными лицами (не маленькие, выпускной класс). – Спрашиваю, болит животик? Он головой мотает, не поймёшь... Спрашиваю, пуговица-то хоть красивая была? А он из кармашка достал – вот, смотри! Не глотал он ничего, пошутил он так, боялся, что воспитательница отберёт. Пуговица-то не его... У них там девочка пришла новенькая, в платье с аппликацией из пуговиц. Мишеньке она очень понравилась, и платье понравилось, он и откусил! – рассказывала Ирина Львовна. И не выдержав, расхохоталась. Группа повалилась на парты в приступе неудержимого смеха. Смех прозвучал неожиданно хрипло.

Отсмеявшись, вытащили из портфелей нотные тетради. Ирина Львовна вызывала всех по одному и предлагала спеть мелодию с листа. Но не тут-то было: петь никто не мог, все сипели и хрипели так, что «слушатели» корчились от смеха, а когда вызывали их самих, хрипели и сипели... (прим.: от мороженого, если его глотать кусками – а все так и делали,

потому что торопились и потому что так вкуснее, – от мороженого моментально садятся связки, и петь после этого... мягко говоря, проблематично)

После четвертого «певца-исполнителя» Ирина Львовна тяжелым взглядом оглядела класс. Маринэ сидела, не поднимая глаз от тетради. Отар беспечно жевал карандаш.

– Тааак... Метревели. – Маринэ грациозно поднялась из-за парты, и Ирина Львовна в который раз удивилась, как неуловимо она это делает. Серебристый голосок безошибочно и звонко вывел все изгибы мелодии.

– Тааак... Темиров. – Отар спел довольно прилично, сфальшивив в конце. («А говорят, у мальчиков в этом возрасте голос ломается. У этого не ломается, всё не как у людей»).

– С вами всё ясно, мороженого вы не ели. Остальных сегодня можно не вызывать, – безошибочно определила Ирина Львовна. – Поднимите руки, кто ел мороженое? (лес рук). Тааак. Урок сорван. Ну, что вы сидите, идите домой. Вы ведь этого добивались? Идите. Я тоже виновата, не должна была опаздывать... Один-один, ничья. – Ирина Львовна сняла очки и... улыбнулась. Значит, не сердится. Она хорошая и добрая, и всё им прощает, любые выходки. Ей сегодня столько пришлось пережить... А они добавили.

– Да ладно, Ирина Львовна, жарко ведь, вот и покушали мороженца. Главное, с Мишкой орднунг. Девочка понравилась, пуговицу откусил. Нормальный ход, – под общий смех

«подвёл итоги» Отар. Ирина Львовна покраснела и улыбнулась. И все отправились домой. Вот это удача!

Остров в океане

Занятия в музыкальной школе начинались с понедельника, но Маринэ с нетерпением ждала четверга – в этот день у них по расписанию сольфеджио и музлитература.

После долгой разлуки они встретились, сияя улыбками на загорелых лицах и радостно хлопая друг друга по плечам (Марину – Отар не позволил, перехватил протянутую руку) и удивлялись тому, как все повзрослели. Четверым из них исполнилось шестнадцать, двоим семнадцать. Отару четырнадцать, но он сильно вытянулся и выглядел старше своих лет, и не отходил ни на шаг от пятнадцатилетней Маринэ, которой можно было дать тринадцать.

В группе никто ни о чём не догадывался. Ну, пишет Маринка за него диктанты, так ведь она всей группе пишет. Ну, домой вместе едут – так ведь им по пути (Отар провожал Марину и ехал обратно – он жил на Алтуфьевском шоссе, в бывшем посёлке Слободка, ставшем теперь Москвой. До музыкальной школы ехать час, плюс восемь остановок от Мариного дома. Он всегда проезжал на одну остановку дальше, иначе бы Марина возмутилась и запретила Отару себя провожать. Потом ехал обратно: девять остановок на трамвае и десять на автобусе, усмехаясь в душе над Маринэ, которая считала, что Отар живёт почти рядом).

Ну, дают Отар с Маринкой Ирке прикурить, так ведь всем

известно: они как встретятся, так отрываются по полной, на радость всей группе – веселятся все, а расплачиваются за удовольствие Маринка с Отаром – записями в дневнике о недостойном поведении, удалением с урока, двойками... Маринка от этих двоек прямо цепенеет. И всё равно они продолжают своё, не могут без этого!

Никто из группы, не исключая Ирину Львовну, не мог даже предположить, чем была эта дружба для Маринэ и Отара, кем были они друг для друга. Вожделенным островом для потерпевшего кораблекрушение, глотком воды для заблудившегося в пустыне, светящимся окошком в непроглядной ночи для потерявшего надежду найти приют и ночлег.

Они нашли – свой приют, оазис в пустыне, остров посреди океана. Они не скрывали друг от друга ни радостей, ни горестей, рассказывая всё без утайки. И тогда как по волшебству отступали страхи, поднималась с колен надежда и крепла вера в лучшее.

Часть 6. Мадам Мари

Год назад

Год назад Маринэ вернулась из Абхазии – как всегда, четырнадцатого августа

– Отдохнула и хватит, до школы две недели, Мария Антуановна тебя ждёт. В школу тебе не идти, времени достаточно, так что будешь заниматься по два часа. И не делай такие глаза! Не умрёшь. Зато язык выучишь.

– Мама! Я на нём говорю, я Виктора Гюго с собой в Леселидзе брала, а словарь забыла, так пришлось без словаря читать.... А с Марь-Антоновной мы ничего не учим, просто разговариваем, она мне рассказывает о Париже и Тулузе, а я ей о Леселидзе. По-французски. И про музыкалку, и про фламенко... Часа хватит вполне, мне ещё четыре пьесы выучить надо, которые на лето задали. Наизусть не успею, выучу по нотам и скажу, что у бабушки в деревне жила, а там пианино нет.

– Не ленись, Марина, не позорь родителей. Сказано – наизусть, значит выучишь наизусть. Иначе каникулы будут кончаться в июле. Пианино тебе купили, комната отдельная, занимайся хоть весь день. Ну, не весь, но три часа обязательно, и не делай такие глаза. Тебя никто не заставляет столь-

ко сидеть за инструментом, можешь разделить на два раза, а можешь на три. Делай так, как тебе удобно, но чтобы выучила наизусть. Я проверю. И не вздыхай! Вздыхать она, видите ли, научилась...

Но Маринэ вздыхала всё равно. Два и три это пять часов, если к этому прибавить утреннюю и вечернюю гимнастику и час фламенко, получится восьмичасовой рабочий день. В каникулы...

Мать требовательно ждала ответа. Маринэ опустила глаза (возражать было бессмысленно и небезопасно). А утром привычно разложила на столе словари и тетради, но Мария Антуановна не пришла. Прождав полчаса, Маринэ спустилась двумя этажами ниже и позвонила в красивую, обитую белой кожей дверь. На звонок никто не отозвался, и Маринэ забеспокоилась.

Мадам Мари было далеко за восемьдесят, и она почти не выходила из дома: прогулки на свежем воздухе с успехом заменяла восьмиметровая лоджия, где Мария Антуановна выращивала роскошные лимонно-жёлтые астры и красно-оранжевую настурцию с лепестками, похожими на языки пламени. Продукты ей приносила соцработница (и Маринина мама). Исключение составляли визиты к двум ученикам, жившим в том же доме, и к соседке Мире Михайловне, с которой они проводили вечера за карточным столом и *dolce farniente* (итал.: приятное ничегонеделанье).

Не отрывая руки от кнопки звонка, Маринэ отчаянно за-

барабанила в дверь кулаком, а потом и ногой. На стук открылась соседняя дверь, из неё вышла Мира Михайловна, посмотрела на Маринэ и закивала головой, молча подтверждая невозможное. Из голубых, выцветших, как августовское небо, глаз Миры полились прозрачные слёзы. Маринэ окаменела.

– А... когда?

– Да уж три недели, как... Двадцать первого июля, аккурат в праздник. Казанской иконы Божией Матери. Через две недели сороковины. – Мира Михайловна перекрестилась и покосилась на Маринэ.

Маринэ опустила глаза. За кого, интересно, Мира её принимает? За католичку, как мама? В их доме истовая религиозность матери мирно сосуществовала с безверием отца, подчиняясь взаимной непреходящей любви и взаимному доверию, которые, гармонично сплетаясь, крепко держали на плаву семейный корабль, делая его непотопляемым.

Если бы Маринэ спросили, она с уверенностью сказала бы, что папа с мамой любят друг друга, даже когда ссорятся и кричат, и переживают оба страшно. А дня через три гостиная завалена цветами, а из кухни пахнет папиной любимой солянкой из свежей баранины, сдобренной душистой сванской солью (прим.: грузинская солянка готовится без капусты, это мясное блюдо, а сванская соль это не соль, а смесь приправ) и грецкими орехами, растёртыми тяжёлым латунным пестиком в латунной ступке так, что выступало ореховое масло.

Другого способа Гиоргис не признавал, и Регина была с ним согласна: приготовленное руками получается вкуснее.

Родители улыбаются, прямо-таки светятся от радости: помирились. Мать на коленях благодарит Деву Марию за то, что «образумила этого абрека» (по-литовски, еле слышным шёпотом, потому что если отец услышит, кем она его назвала, будет «вторая серия»). Ну, прямо как дети! Может, Маринэ вечером удастся под эту «музыку» посмотреть кино? Но разве об этом расскажешь, разве Мира поверит...

Что ж теперь поделаешь...

Хотелось плакать, но слёз не было – лишь невероятная, каменная тяжесть, которая не давала дышать, не давала жить. Вот сейчас откроется дверь, выйдет Марь-Антонна, с такой родной, такой понимающе доброй улыбкой на пергаментных щеках, умело подкрашенных нежно-розовыми румянами, и скажет: «Ну что, напугали мы тебя? А ты и обрадовалась, что заниматься не надо... Нет, золотая моя девочка, *a la guerre comme a la guerre* (франц.: на войне как на войне), пока тебя не выучу, не умру».

И Маринэ наконец выдохнет застрявший в лёгких воздух, который никак не выдыхается... И радостно скажет: «А я «Труженики моря» в каникулы прочитала, которое вы мне задали. Без словаря! И всё поняла! До конца не успела дочитать, потому что бабушке с огородом помогала, и с виноградником, и цветы поливала... Ей одной тяжело».

Маринэ скажет ей, и мадам Мари не станет упрекать её за то, что не успела дочитать Гюго, и лентяйкой называть не станет, и выговаривать, как по любому поводу ей выговаривала мать. Положит ладони на Маринины на плечи (ужаснувшись про себя: птичьи косточки!) и звонко расцелует в обе щеки, как всегда целовала после долгой разлуки. «Марь-Антонна, мадам Мари, я никогда вам не говорила, что люблю вас. То есть, любила. Теперь уже не скажу, теперь некому говорить».

Никто не откроет сливочно-белую, с золотым тиснением дверь. Никто не поцелует. Отар поцеловал однажды, но Маринэ ему запретила, и он больше не смел, только смотрел. Дома поцелуи не приняты, приняты пощечины от матери за дерзость (дерзостью считалось любое возражение), а ремень отец только обещает. С того дня, когда Маринэ исполнилось пятнадцать, в ходу только угрозы:

«Ох, ты у меня дождёшься, не посмотрю, что пятнадцать лет! Ведь сама напрашиваешься, из кожи вон лезешь – мол, смотрите, дорогие родители, любуйтесь, кого вырастили! Леня вперёд тебя родилась, ум стороной обошёл, учиться не хочешь, как следует... Мать говорит, гимнастику лишний раз сделать ленишься! За что же нам с матерью такое наказание господне, сасждели уплиса!(груз.). Значит, мало били, раз ума не прибавилось. Зря я тебя жалел. Думал, хоть в пятнадцать поумнеешь. Ошибся. Слов не понимаешь, значит, придётся ума добавить».

Отец только обещает, но как знать, чем это кончится.

Скорей бы вырасти, тогда они с Отаром поженятся и уедут, всё равно куда, только чтобы с ним вдвоём. Она не будет упрямой и дерзкой, какой её считают родители, спрячет строптивый характер и будет во всём его слушаться, никогда и ничем не расстроит. Отар будет к ней справедлив и никому не позволит причинить ей боль, он сам сказал ей это год назад, на угольной куче за музыкальной школой, где они признались друг другу в любви и поцеловались – первый и

единственный раз, больше нельзя, только после свадьбы.

Маринэ крепко сжатыми губами коснулась прохладных губ Отара и сразу же отвернулась, но он притянул её к себе и, крепко держа за локти, поцеловал по-настоящему, раздвинув её губы языком. Маринэ хотела сказать, что она так не хочет, но не могла уже говорить и только смотрела остановившимися глазами в непроглядную ночь его глаз (ночь была тёплой, южной, восхитительной...). Когда он отпустил её локти, прошла тысяча лет. Маринэ тысячу лет будет помнить этот поцелуй. Единственный поцелуй Отара... Потому что больше она ему не позволила.

А когда они поженятся, Отар не станет спрашивать у неё позволения. Он сам ей это сказал. Если только... Если только ему не понравится другая девушка. Тогда Маринэ попросит у отца денег на подарок и купит большого белого мишку, которого ей всегда хотелось иметь, и сейчас хочется. Она подарит его невесте Отара. Потому что дарить надо самое дорогое.

А для Маринэ самое дорогое это Отар, и она никому его не отдаст! Она умеет метать нож (отец научил), умеет обращаться с финкой (Отар научил), она скажет его невесте: «Уезжай обратно в свой аул, а то я тебе личико попорчу». Марина запросто может, она на многое способна, никто об этом не знает, а Отари, кажется, догадывается, не зря её учил с ножом обращаться и приёмы показывал... Не бокс, другие. Маринэ не спрашивала, какие. Не скулила, не жалова-

лась, молча терпела удары (впрочем, Отар утверждал, что бьёт вполсилы), и в конце концов научилась, и Отару от неё сильно досталось. Потирая плечо, которое Маринэ, войдя в азарт, попыталась вывернуть, Отар одобрительно сказал, что у неё почти получилось, и теперь Маринэ сможет за себя постоять.

Ну, до этого, наверное, не дойдёт, потому что невеста Отара испугается и уедет, а Отар скажет: «Как же я ошибался, подумать только, на этой трусихе я хотел жениться! Уехала и правильно сделала, мне такая не нужна!»

Ничего такого Маринэ не сделает. Нельзя. Надо уважать чужой выбор. Она не станет никому угрожать, поздравит молодых, подарит белого мишку, о котором мечтала всё детство, и навсегда попрощается – с мишкой и с Отари.

«Отари, неужели ты меня когда-то бросишь, уйдёшь от меня навсегда, как ушла Мария Антуановна, которая больше никогда меня не поцелует... Никогда!»

Не помня себя, Маринэ бросилась по лестнице вверх.

Разговор

– Что ж теперь поделаешь... Жалко, конечно, хорошая учительница, и человек хороший. Но ведь все умирают, Мариночка, а ей уже много лет... было. А мы и не знали, нам не сказал никто. Мы с отцом только позавчера приехали, месяц в Литве отдыхали, в Паланге. Там закаты красивые, солнце опускается прямо в море, мы фотографий много привезли, и на камеру сняли. Хочешь посмотреть? Марина! Я с тобой разговариваю?! Теперь надо преподавателя искать... Хотя французского уже достаточно. Думаю, тебе стоит выучить испанский, ты же в Испанию собираешься, с ансамблем твоим...

Арчил Гурамович неплохо знает испанский, мы будем платить ему за уроки, он будет с тобой заниматься – и танцами, и испанским. Что значит, ни за что? Как ты с матерью разговариваешь? Чем он тебе не угодил? Тебе бы мужа такого, нам с отцом спокойнее будет...

Мы с тобой ещё поговорим на эту тему. Арчил Гурамович не женат, и хорошо к тебе относится, он сам сказал отцу. Ты тоже говорила, что он тебе нравится...

– Я говорила, что мне нравится, как он танцует, – замороженным от ужаса голосом вымолвила Маринэ.

– Да слышали мы, что ты говорила: танцует как бог, настоящий испанец, Хоакин Кортес... И фамилия у него кра-

сивая. Тебе пойдёт. Маринэ Кобалия. Что ты бледнеешь, никто тебя не гонит замуж, до совершеннолетия ещё три года. А по мне – школу закончишь, и можно не дожидаться. Отец разрешит. Он говорил с Арчилом. Арчил сказал, что ты его боишься, прямо цепенеешь. Мариночка, ты ведь уже взрослая девушка, а ведешь себя как капризная маленькая девочка. Плохого он тебе не сделает, на всё ради тебя пойдёт, и в Испанию поедете на фестиваль этот, ты же мечтала. Вот и поедешь! Выйдешь за него замуж, привыкнешь к нему и не будешь бояться. Он хоть раз тебя тронул? Что ты как зверёныш дичишься, пора уже поумнеть. Марина! Я с тобой разговариваю или нет? Что ты молчишь? Моду взяла молчать! И хватит плакать, у нас никто не умер, а всех соседей оплакивать – слёз не хватит. Хорошо, что мы ей вперед не заплатили, кто бы нам деньги вернул... Марина! Ты куда? Тебе кто разрешил уйти?!

Утешение

Маринэ позвонила Отару из телефонной будки. Ей повезло: в кармане нашелся жетон, автомат был исправный, а Отар оказался дома. Вместо тренировки приехал к ней, и они до поздней ночи сидели на скамейке. Отар гладил её по косам и утешал, а Маринэ сквозь слёзы пыталась ему рассказать о том, что услышала от матери...

Отар кивал, не слушая Маринэ, гладил её плечи и тихонько целовал залитые слезами щёки. Они до темноты сидели в сквере, опустевшем в этот час, и редкие прохожие смотрели на них с осуждением: «Нашли место для поцелуев. Молодёжь нынче отвязная, ни стыда ни совести. Скоро и спать на скамейках улягутся, и как тогда по скверу ходить?..»

Домой Маринэ вернулась, когда было уже темно. Отар проводил её до дверей и, дождавшись когда в её комнате вспыхнет окно, поехал к себе в Алтуфьево.

Маринэ молча прошла к себе, разделась и легла. Ждала, что отец придёт «разбираться» с ней за то, что без разрешения ушла из дома и вернулась за полночь. Ей всё равно, пусть с ней делают что хотят. Впрочем, так всегда и было.

«Марь-Антоновна, мадам Мари, как бы я хотела рассказать вам... Вдвоём мы бы нашли выход, Отар вряд ли мне поможет, сам ещё мальчишка, а с вами мы бы что-нибудь придумали... Неужели я никогда не увижу вашу улыбку, не

услышу ласковое: «Устала, моя девочка? Вижу что устала, но мы ведь не закончили урок, так? Ещё двадцать минут, Мари-рина, соберись и переводи. Ну же!»

Мадам Мари! Если бы вы могли вернуться, я согласилась бы сидеть над переводами ночами. Я даже за Кобалию вышла бы замуж, вот прямо сейчас, если бы этим могла вас вернуть...»

Часть 7. Золотая девочка

Шени дэда ватирэ

Против Марининых ожиданий, её появление дома в двенадцатом часу отец оставил без внимания. Зато на мать орал как резаный. Сначала говорила мама, слов не разобрать, но по интонации понятно: жалуется на Маринино поведение и просит, чтобы отец с ней «разобрался».

Ох, давно пора, давно он её не трогал. Вроде бы не за что было. Это упущение надо немедленно исправить, и Маринэ на пользу пойдёт, и мама будет довольна. «Получу аттестат и пойду во французское посольство переводчиком, с моим произношением и с моей внешностью это будет... несложно, хотя, наверное, противно. Если попадётся такой как Арчил. И Отара спрашивать не стану. Кто он мне? Никто! Не в аул же мне ехать, овец французским матом крыть. Никто не знает, что я его знаю, спасибо Марь-Антоновне, «язык надо знать во всех его ипостасях, деточка». Отец бы услышал, в обморок бы грохнулся...»

Потом «говорил» отец – орал так, что стены тряслись, и Маринэ, лёжа в постели, тревожно прислушивалась.

«Соображай, что говоришь! «Соображай, что говоришь, сулэло!(груз.: дура). Девчонка сама не своя, она её любила

очень, и Антоновна её любила... вместо тебя, кхвалапэри касагебия! Шени дэда ватире!!(груз. нелитературные ругательства). А ты ей фотографии с закатами съешь, сулэлури кали! (глупая женщина). Ты бы лучше её накормила, солянку сварила бы (прим.: грузинская солянка это тушёное мясо в ореховой огнедышащей подливе). Что значит, вечером нельзя? Она с утра не ела, да в поезде двое суток ехала... Ты хоть спросила, что она в поезде ела, или тебе всё равно? И ела ли – это ещё вопрос. Того нельзя, этого нельзя... А что ей вообще можно? От неё одна тень осталась. Бабка моя незаботливая, уж я-то знаю, а ты её на всё лето к ней отправляешь. Она там бегают весь день неизвестно где, Этери о ней и не вспомнит...

Какой к чёрту испанский, о чём ты думаешь, чёртова кукла! Девятый класс, фламенко, музыка, язык... Ты хочешь, чтобы она сорвалась? Ей в институт поступать, репетиторов нанимать надо, ты бы у неё спросила, по каким предметам ей помощь нужна, а ты с испанским носишься, как курица с яйцом! Она Гюго в оригинале читает, а тебе всё мало... Говоришь, без разрешения ушла? Всыпать ей надо, чтобы запомнила надолго. А будет ли толк? Ей ведь всё равно, хоть убей!

Ты вспомни, ей ещё трёх не было, когда она характер показала, гимнастикой заниматься отказалась. Пару раз упала и заартачилась. Не знали, что с ней делать – на занятиях по растяжке плачет, заниматься не хочет ни под каким видом. С ремнём – сразу захотела. В спортзал бегом бежит, сама

на бревно карабкается, никто не заставляет! Падает, встаёт, слёзы вытирает и снова на бревно... и так, пока не получится. Тренерша на неё не нарадуется, говорит, золотая девочка. Спрашивает, как вам удалось её уговорить так заниматься? Не ребёнок, а золото!

С коньками – та же история: ей, видите ли, падать больно, синяки не проходят. Не нравилось ей... И сразу понравилось!

За двойки лупили, так сказать, по сумме баллов, за тройки – за каждую в отдельности. Стала учиться без троек. Значит, может, когда не ленится! Троек почти нет. Почти. В день по шесть уроков, учить не успевает. Но старается изо всех сил – знает, что её ждёт. Впрочем, две тройки в неделю ей разрешил, всё же нагрузки большие. Превышение лимита приравнивается к двойке. Другого языка она не понимает. Поэтому телевизор только по воскресеньям, на улицу только с разрешения.

Музыкой заниматься с этой твоей Лидией Петровной она тоже не хотела, помнишь, сколько было слёз? А что ты вытворяла со своей mano mergaite (лит.: моя девочка), ты помнишь? Ничего не помогало, на ремень не реагировала, плачет и головой мотает – не пойду. Ротвейлера она боялась больше.

Что ты от неё хочешь, Регина? Ей шестнадцать скоро, а без ремня с ней не справиться. Золотая девочка, дьяволом подшитая. Кобалия с ней наплачется, помани моё слово, сам

ремень в руки возьмёт. В ней твоя кровь – литовская, упёртая... Что-оо?! Молчи и слушай, что тебе говорят! И творогом её больше не корми, она его в унитаз спускает. Не видела? Так посмотри. Посмотри, что вытворяет твоя дочь! А ты не можешь с ней справиться, шени дэда... Всё. Закончен разговор. Дзили нэбиса!» (груз.: «твою маму... Доброй ночи!»)

Вахшами (груз.: ужин)

Оглушительно хлопнула дверь. Маринэ сжалась в комок под одеялом и перестала дышать. Сейчас придёт воспитывать – за то, что ушла без разрешения, за то, что поздно пришла, за то, что с матерью не стала разговаривать, за творог... Матерно, как при матери, он при ней не скажет, но лучше бы матом, чем...

Вопреки её ожиданиям, отец не пришёл. Маринэ услышала, как громыхнул стул, заскрипел на кухне диван. Спать, значит, лёг. Давно он так не срывался. Регина сама виновата, довела: вправил ей мозги, пожелал спокойного сна и улёгся в кухне спать. Маринэ не выдержала, улыбнулась под одеялом, свернулась калачиком. Калачиком ей нельзя, можно только на спине. Ничего, никто не увидит.

Завтра эти двое помирятся. Отец её любит, жалеет, наверное, что таких слов наговорил. Им хорошо: у отца есть мама, а у мамы – отец. А у неё, Маринэ, теперь даже Марь-Антонны нет, только бабушка в Леселидзе, не то троюродная, не то ещё дальше, которая ей даже не бабушка, а непонятно кто...

Звякнула посуда, хлопнула дверца холодильника.

– Маринэ, ты не спишь? Вставай, одевайся, и приходи ужинать, ты не ела ничего, и не обедала сегодня... Ужин выбирай сама: комбосто, цицмати, мцване салата (груз.: капуста, кресс-салат, салат-латук)

– Спасибо, я не хочу, – откликнулась Маринэ.

– Не хочешь? Ну, если не хочешь, не ешь, заставлять не буду. Я цыплёнка нашёл в холодильнике. Может, составишь компанию? С ткемалевым соусом будешь? Маринэ, мне долго тебя ждать?

Ей совсем не хотелось есть. Хотелось спать, но она покорно поднялась с постели, влезла в джинсы, и как была, в пижамной курточке, пришла на кухню. Вахшами. Ужин. В час ночи... Вместо надоевшего творога – жареная курица и свежий лаваш. Конец света.

Она разломил лаваш (кто не знает, лаваш нельзя резать ножом, этим ты сердце хозяину режешь), густо намазала сливочным маслом, посыпала сахаром и вопросительно посмотрела на отца. Отец пожал плечами и отвернулся. Что с ним такое, плачет, что ли? Полночи орал как резаный, мать довёл, и сам же плачет, чудны дела твои, господи.

Впрочем, они сами разберутся, её это не касается. Маринэ откусила сразу половину, лаваш не помещался во рту, и она затолкала лакомство в рот раскрытой ладонью. Отец снова отвернулся, пряча улыбку. Вовсе он не плачет, он смеётся над ней! За то, что ест так, словно вот-вот отнимут... Ну и пусть, она стерпит, не такое терпела. Мама бы сказала, что Маринэ ест как свинья, и погнала бы её с кухни.

Отец с тяжёлым вздохом разломил цыплёнка пополам, обмакнул свою половину в соус и принялся энергично жевать. Маринэ взяла с блюда вторую половину, отломил кусочек

и сказала отцу:

– Пап, у тебя усы в ткемали. Мама увидит, скажет – ешь как свинья.

– Не переходи границу, Маринэ... Впрочем, ты уже перешла. Так, говоришь, скажет? Ну, пусть попробует... Разберусь. Ты чай будешь или кофе со мной выпьешь? Почему тебе мать кофе не даёт, это ведь не пирожные?

– Мама говорит, кофе это как еда, лишние калории.

– Лишние, не лишние, мне одному, что ли, пить? Доставай турку, научу тебя, как надо варить. Ведь ничего не умеешь, будешь с мужем в столовую ходить.

«Так вот зачем он меня позвал...» Цыплёнок застрял в сжавшемся горле. Маринэ с трудом проглотила кусок. Положила остатки на тарелку, сложила на коленях руки и, собрав всё свое мужество, приготовилась слушать. Но слушать ей ничего не пришлось: Гиоргис догрызал крылышко, вкусно похрустывая зажаренными косточками и запивая сухим «Кхартули» (лёгкое красное вино, идеально к мясу, с цыплёнком тоже сойдёт). Перехватил взгляд дочери, сказал спокойно: «Вино я бы тебе не советовал. В холодильнике минералка, тебе завтра в школу... Ах, да, у тебя же каникулы. Тогда можно! Будешь?» – И не дождавшись ответа, наполнил её бокал, забыв разбавить водой, как делал всегда.

Маринэ выпила весь бокал – медленными глотками, смакуя изысканный букет и великолепный, слегка кисловатый вкус. И принялась за цыплёнка, которого ела так же медлен-

но: отщипывала маленькие кусочки, макала в соус и сосредоточенно жевала, жмурясь от удовольствия и поминутно облизывая пальцы. Отец с интересом наблюдал за тем, как она ест.

(«Вот уж не думал... Боже мой, гмэрто чэмо, никогда не видел, чтобы так ели обыкновенного цыплёнка – наслаждаюсь каждым кусочком! Регина её чёрт-те чем кормит. Но я её приведу, понимаешь, к общему знаменателю! Я с ней... разберусь»)

– Я с ней разберусь, дочка, – забывшись, сказал Гиоргис вслух. Маринэ неверяще на него посмотрела и со вздохом принялась за цыплёнка... Ничего у него не получится, на ужин всё равно будет творог, «не нравится творог, будешь есть салат». Салат – это зелёные листочки, сбрызнутые оливковым маслом, без соли и без хлеба. Съешь и не поймёшь, ела или нет. В твороге хоть фрукты попадают, а иногда даже изюм. А цыплёнок на ужин – это из области фантастики.

«Гмэрто чэмо, и как в неё столько поместилось?» Гиоргис с интересом ждал, чем это кончится, а Маринэ, догрызая рекламно белыми зубками вкусно зажаренное крылышко, смотрела в свою тарелку и не видела его глаз, иначе бы обиделась и сказала, что кухня не театр, а цыплёнок не Арчил Гурамович («И слава богу, тогда бы мы с тобой не смогли его прожевать» – выдал бы Гиоргис...)

На плите рассерженно зашипел кофе, отец вскочил, опрокинул стул, но успел спасти положение. Маринэ сжала губы,

чтобы не рассмеяться, но всё-таки не выдержала и хмыкнула. – «Смейся, смейся. Дожили, дочка над отцом потешается, ещё и матерью его пугает. У меня аж поджилки трясутся, не ровён час – Ешь быстрее, не копайся. Регина заявится, и будешь творогом унитаза кормить. Чтобы я. Больше. Такого. Не видел! – отчеканил отец. – Ешь что дают, и матери не дерзи.

– Я не дерзила.

– Да? А с чего она так взбеленилась? Чем ты её достала?

– Ничем. Молчала. Не отвечала.

– А-аа, это ей хуже чёрта, это ты здорово придумала. Не была она тебя?

– Ннн... нет. Один раз.

– Один раз не считается. И всё-таки будь с матерью вежлива, Маринэ, не переходи границу. («О чём он говорит, о какой вежливости, о какой границе? Это мать переходит границу, ей бы и читал мораль»)

Вахшами. Продолжение

Регина кусала губы от злости. Прислушиваться к разговору бессмысленно, эти двое говорили на грузинском, специально, чтобы она не поняла. С кухни вкусно пахло цыплёнком и ткемаливым остро-кислым соусом. Звякнули бокалы. Он что, вином её поит?! Цыплёнком кормит – в два часа ночи?! В холодильнике творог, не ест – значит, не голодная, а он для этой мерзавки накрыл дастархан! И хохочут оба. И ведь не сунешься на кухню, не узнаешь, над чем они смеются. На кухню Регине ходу нет, когда муж злится, «границу» переходить не стоит...

...Кофе пили молча. Маринэ нашла в холодильнике баллончик со взбитыми сливками и держала его над креманкой до тех пор, пока он не перестал с шипением извергать сливочную пену. Креманка наполнилась до краёв. Маринэ взяла ложечку и нарисовала на сливках вишнёвым сиропом пышную розу, густо закрасив лепестки. Получилось красиво, даже есть жалко!

Вздохнув, Маринэ зачерпнула полную ложку сливок и отправила в рот. Мать на кухне вряд ли появится, момент благоприятный, и не воспользоваться этим просто глупо. Отец от сливок отказался, Маринэ пожалала плечами – не хочешь, не ешь – и съела всю креманку, после чего с аппетитом молодого волка догрызла свою половину цыплёнка, заедая её ве-

точками кинзы и отщипывая кусочки лаваша. За два проведенных в поезде дня она съела кисточку подаренного бабушкой Этери винограда и купленный на вокзале лаваш, остальной виноград привезла домой, большой тяжёлый ящик, отец еле выволок его из вагона... А сегодня вообще не могла есть, известие о смерти Марии Антуановны напрочь отбило аппетит, а мысли о твороге вызывали тошноту.

Регина бы с ума сошла, увидев такую *saiko neturejima* (литовск.: неумеренность), назвала бы её *edune,saiko neturincia* (литовск.: обжора, не знающая меры). А отец молча пил кофе, вздыхал и время от времени проводил рукой по лицу, словно пытался снять горький осадок сегодняшнего вечера.

С сожалением отодвинув от себя пустую креманку, Маринэ открыла холодильник и поставила баллончик на дверцу. Гиоргис вытер усы, с кряхтением улёгся на диван и, отвернувшись к стенке, мстительно улыбнулся, представив ошеломлённое лицо Регины, когда она обнаружит в холодильнике пустой баллончик из-под взбитых сливок.

– Будешь уходить, погаси свет, дочка.

– Папа, ты расстраивайся так. Поспишь сегодня на диване, а завтра прощения попросишь за площадную брань, и помиритесь. – Маринэ облизала измазанные куриным жиром пальцы и подумала, что во французское посольство она, пожалуй, не пойдёт. Уедет во Францию, и там её никто не достанет, ни родители, ни Арчил Гурамович Кобаляя...

– А ты... слышала?

– Слышала. Ты так кричал, все соседи слышали.

– Ну, соседи – не страшно, соседи грузинского не знают.

Регина довела, я и сорвался. А тебе кто разрешил слушать?! Тебе спать надо и не слушать, чего не надо! Кофе допивай, если остался, и ложись, тебе вставать скоро... Ах, да! У тебя же каникулы, я забыл. Хочешь ещё чего-нибудь?

Маринэ помотала головой, отказываясь. У неё сами собой закрывались глаза, голова стала тяжёлой, а желудок слегка ныл – полцыплёнка, пол-лаваша и полная креманка взбитых сливок с вишнёвым сиропом... Ах, да! Ещё намцхвари, пирожное, которое она сделала сама, из хлеба с маслом и сахаром. Отец прав, сегодня она перешла границу. Завтра будет творог, и только творог, а на ужин минералка и ничего кроме. И послезавтра тоже. А сейчас она пойдёт спать, она так сильно хочет спать, что заснёт по дороге в комнату... И это после кофе!

Мысли тоже хотели спать, тяжело ворочались в голове и не хотели думаться. Смерть мадам Мари отступила куда-то и уже не казалась такой страшной. Она ведь не сегодня умерла, давно уже, и теперь живёт во французском раю. А Маринэ знает французский почти свободно, значит, Мария Антуановна будет с ней всегда, стоит только открыть книгу. Она обязательно дочитает «Тружеников моря», ей немного осталось... Завтра. Сегодня Маринэ ничего уже не может, она может только спать...

– Ара. Мэ намдвилад медзинэба («Нет. Я очень хочу

спать»), – призналась Маринэ, и отец, поцеловав её в лоб, легонько подтолкнул в спину.

– Гаге мшвидобиса (доброй ночи).

Часть 8. Друзья

На круги своя

Всё встало на круги своя, и снова они с Отаром шатались на переменах по школьному двору и делились новостями. В октябре неожиданно выпал снег, и они лакомились им на угольной куче позади школьного здания (Отар – чтобы заболеть и не ходить «на музыку», Маринэ просто за компанию).

– На черта тебе сдались эти фламенко, ведь ничего нельзя: того не жри, этого не жри! – грубо выговаривал ей Отар. Почему он так груб с ней, она ведь не виновата, что ей нельзя. Никто не морит её голодом, она ест три раза в день, как все. И нечего Отару разоряться.

– Не злись. Я уже привыкла, меня с трёх лет на диету посадили: гимнастика, коньки, плавание... А потом школа и музыка, застрелиться и не жить. Но фламенко я ни за что не брошу. Это не танец, это жизнь, как ты не понимаешь... Слушай, Отар, если снежок скатать, из него мороженое получается! Вкусное! Попробуй.

– Дай от твоего откусить. А это что, чёрное? Уголь, что ли? Маринэ, тебя убить мало! Накормила углём, я ж тебе не паровоз! На, держи своё мороженое. И не увлекайся, уголь очень калорийный...

На переменах Отар и Маринэ находили укромный уголок и рассказывали друг другу то, о чём никому никогда не говорили. Впрочем, Маринэ не любила рассказывать, она больше любила слушать. А Отару хотелось, чтобы она знала о нём всё. Он и рассказывал ей – всё.

Аккордеон в боксёрской стойке

На аккордеоне настояла мать, которой хотелось, чтобы сын «вышел в люди» (о том, чем закончился выход в люди, расскажу позже). Отец, в пику жене, записал сына в секцию бокса. Отару не очень нравился бокс и очень не нравился аккордеон, но приходилось, как он говорил, сочетать несочетаемое и совмещать несовместимое.

В этом году ему не повезло с расписанием: сразу после тренировки Отар, едва успев принять душ, садился в автобус (до «музыки» ехать было далеко). На урок сольфеджио он являлся, по определению Ирины Львовны, не от мира сего – и тяжело опускался на стул («Темиров, ты мне все ступля переломашь. Что ты как старик столетний, тебя ноги не держат?») Маринэ изо всех сил сжимала губы, чтобы не рассмеяться: она знала его расписание и знала, что – да, не держат. Отар больно пихал её локтем в рёбра и показывал под партой кулак, Маринэ морщилась и отворачивалась, Ирина Львовна не понимала в чём дело и злилась на обоих.

Наплевав на правила, Отар успешно применял полученные в секции бокса «знания» в дворовых драках и охотно выполнял просьбы Маринэ «успокоить» ретивых одноклассников, которые её «достали своими аккордами».

– Скажи, что тебе сделали? Кто сделал? Имя скажи! – допытывался Отар.

– Он ничего не делал, он на меня смотрел... не так. Ну, ты сам знаешь как, – смутилась Маринэ.

Отар понимал её с полуслова.

– Значит, так. Завтра приеду, покажешь мне, кто смотрел. В глаз получит, смотреть не захочет больше (и «смотрящий» получал «в глаз» по полной программе).

– Ещё кто? Говори, Маринэ. Никто не слышит, можешь говорить всё.

– Ещё Славка Горин. Он мне за шиворот снежок сунул и воротник порвал, когда я вырывалась, – всхлипнула Маринэ. – И ещё рукой шлёпнул по спине, где снежок был, и он растаял... Знаешь как холодно! Пока до дома дошла, обледенела, спина вообще как не моя, и зуб на зуб не попадает. Знаешь, как меня мама ругала, что я вся мокрая пришла (о том, что – не только ругала, со всей силы отхлестала по щекам за порванный воротник пальто и оставила без обеда, Маринэ рассказывать не стала). Отари, скажи ему, чтобы больше ко мне не подходил... Или я его когда-нибудь зарежу! Я об него кулак разбила, до сих пор больно. Об скулу. Вот смотри, костяшки содрала до крови... А ему хоть бы что, морду вытер и пошел.

– Скажу. Я ему так скажу, что... больше к тебе не подойдёт. Снегом накормлю досыта и натолкаю в... Куда надо, туда и натолкаю. А ты зачем в скулу била? Бить надо в зубы, в челюсть боковым. В глаз тоже неплохо. Ну, костяшки всё равно собьёшь, что так, что этак. Учишь тебя, учишь, а всё

без толку! – расстраивался Отар.

Дрался Отар Темиров жестоко и без правил, и вскоре на Маринэ боялись поднять глаза и обходили её стороной, и она вздохнула с облегчением.

Умение отвечать на вопросы

– Ты сейчас-то не реви, всё прошло уже. А чего ты в пальто ходишь, зимой в шубе надо ходить, или в зимнем, а твоё демисезонное-мимосезонное. Вот пойду работать, куплю тебе шубу. Самую лучшую! Если у твоих родителей денег нет.

– У них есть, просто они не хотят. Говорят, дорогие вещи в школу носить ни к чему. Два года осталось, дохожу в старом, а когда в институт поступлю, мне новое купят...

– А если не поступишь? Опять в этой промокашке ходить будешь?

– Не знаю. Может и буду. Мне не холодно, потому что я два свитера вниз надеваю. То есть холодно, конечно, если стоять, или если снег за шиворот попадёт, а без снега и если идти – то ничего, нормально, – путано объяснила Маринэ, и Отар в который раз удивился её умению отвечать на вопросы: вроде бы всё сказано, но непонятно – да или нет.

– Ну и где твои свитера? Что-то не видно. На занятиях в одном платье сидишь, на тебя даже смотреть холодно!

– Мне не холодно. А не видно потому, что я их под платье надеваю. Иначе бы я в сосульку превратилась: наши все в классе сидят, в тепле, а мы с тобой свежим воздухом дышим.

– Воздухом свободы!

– Вот-вот, свободы... от лишней одежды.

– А ты и ходишь – в лишней. Давно выкинуть пора. Ты в

этом пальто как... как эта...

– Ну, говори уже. Как нищенка, как бомжиха, да? – обиделась Маринэ.

– Нет. Бомжиха в грязном, а у тебя чистенькое, аккуратное, и сидит классно!

– Ага, и рукава на локтях аккуратно заштопаны, – рассмеялась Маринэ и вскрикнула. – Ай, сулэло! (груз.: дурак) Ты с ума сошёл?! Чуть мне руку не вывернул! Я же пошутила! Ну, про рукава. А ты подумал, в самом деле? Ха-ха-ха!

– Маринэ, на тебе правда два свитера? Ты тоненькая такая, где же они там помещаются?

– Ну, не могу же я при всех... Пойдём на нашу кучу (имелась в виду – угольная куча у школьной котельной), я тебе покажу.

– Покажу... Ты раздеваться собралась на морозе? Ну, Маринка, ты даёшь. Замёрзнешь ведь! Давай так: ты пуговку на платье расстегни, а я посмотрю... о, один есть... И второй! Не соврала. Ценю в тебе это. Та-аак, к нам, кажется, гости... Какие люди! Вован припёрся! Вовико, тебе чего тут надо, места мало на земле? Могу обеспечить.

– Да мне-то ничего не надо... Вы тормозните, ребята. Вас послушать, так вы тут бог знает чем занимаетесь, ты платье расстегни, а я посмотрю... Ой, Марин, за что? Я же пошутил, ой, больно же! Ой!... по голове не надо бить, я ей пою, на сольфеджио. А на тебе правда два свитера?.. Ты не врёшь?

Маринэ поёжилась, но куда же денешься – расстегнула

платье и показала Вовану свитер, после чего указательным пальцем левой руки сильно оттянула средний на правой и, отпустив, со всей силы щёлкнула Вована по лбу. Вовка удалился, обиженно ворча и потирая лоб. Отар был доволен: получил фашист гранату, прямое попадание. Не зря он Маринку учил, как правильно бить. Отар сам застегнул ей платье и пальто, заботливо поднял воротник и завязал шарф – как маленькой, узлом сзади.

Отару было тогда тринадцать, Маринэ четырнадцать, ни о чём запретном и стыдном эта парочка не помышляла, и обвинять их в этом было глупо и весьма опасно: по башке получишь.

Вечером Маринэ сказала матери: «Мам, я не буду в этом пальто ходить, я в нём как нищая. Я лучше в куртке буду, достань мне с антресолей куртку»

– Не придумывай. Куртка короткая, ты в ней замёрзнешь, а пальто длинное, в нём тепло. Оно после химчистки как новое, локти я починила, заплатки изнутри поставила, снаружи их не видно. Это ещё что такое? Иди в свою комнату и плачь там сколько угодно. После того как сделаешь уроки и французский.

Вот и весь разговор.

Бред водителя во сне

После занятий группа разбежалась кто куда. Отару с Маринэ было по пути, они садились в автобус, и тут-то начиналось....

Сначала Отар, чтобы развеселить Маринэ, изображал сценку «Бред водителя во сне». У него получалось смешно и артистично: «Бр-бр-брр. Мр-мр-мрр. Закройте заднюю дверь, не наваливайтесь! Хыр-хыр-хрр, гыр-гыр-грр... Мужчина, уберите ногу, не видите, у женщины чемодан застрял! Женщина, ну куда вы с таким чемода... Ах, это у вас не чемодан? С такой зад... прошу прощения, такси надо брать. Извините ещё раз, мне из кабины не видно... Мр-мр-хррр, хыр-мр-мррр... Закройте заднюю дверь!»

Маринэ хохотала, Отар смотрел на неё, как она смеётся, и не мог оторвать глаз. Пассажиры тоже смотрели, с осуждением: «С таких-то лет...» – читалось в их взглядах. К счастью, Маринэ ещё не умела читать взгляды, а слёзы из её глаз текли от смеха.

– Ой, Отари, хватит, я больше не могу смеяться... Перестань, пожалуйста!

Отар послушно «переставал», брал Маринэ за талию и, легко оторвав от пола, заботливо переставлял её в освободившийся уголок у окошка, чтобы не толкали. После чего, хитро подмигнув, извлекал из недр портфеля настоящую

финку с наборной рукояткой.

– Ого! Финарь! Настоящий! – восхищённо выдохнула Маринэ. – Дай поддержать!

– Здесь нельзя, народу много.

– Ну, дай! Дай! Я осторожненько... – Маринэ смотрела с мольбой, в глазах накопились слёзы, и Отар уступил.

– Ну, на, на! Только смотри, она заточена, автобус дёрнет и порежешься... Давай сюда, сейчас поворот будет!

Финку ему, по его словам, подарили. Рукоятка была невозможно красивая, из полупрозрачных жёлто-бордовых полос. Дай поддержать, – просила Маринэ, и Отар давал, к ужасу всех пассажиров. Рукоятка удобно ложилась в ладонь, глаза у Маринэ загорались огнём, и такой она нравилась Отару ещё больше. Семнадцать исполнится, сватов зашлю, – сладко мечтал Отар. – Да её отец не отдаст, наверное... За своего выдаст».

Но Маринэ о его мечтах не догадывалась, потому что парень умел владеть собой и был ей другом, а Маринэ умела ценить друзей.

– Ух, ты! А пластинки из чего?

– Из плексигласа, наборная рукоятка, пальчики оближешь!

– А желобок зачем?

– Желобок... как бы тебе объяснить, желобок для стока крови, а без него весь нож зальёт, мокрый в руке не удержишь, выскользнет. Им ведь не картошку режут.

– Я поняла, что не картошку. А эта штука для чего?

– Это упор, без него нож целиком в тело войдёт, потом вынимать замахаешься.

– Ааа, теперь поняла. Дай сюда. Где палец должен быть?

– Нет, не так. Вот так... Тогда он сам в ладонь ложится, а палец вот сюда кладёшь, и... Марин, может, хватит на сегодня, люди же кругом. Нас с тобой из автобуса выгонят.

– Где взял?

– Подарили.

– А вот и врёшь.

– Не вру, говорю же, подарили.

– Кто подарил?

– Марин, хорош уже, отдай фонарь и...

– Нет, вы посмотрите на них! Среди бела дня, в автобусе, с ножом... – не выдерживали стоящие рядом пассажиры. – Водитель! Высадите этих двоих, которые с ножом!

...Маринэ с Отаром выходили из автобуса и шли пешком до ближайшей остановки. Идти получалось плохо, потому что оба умирали от смеха.

Часть 9. Гимн свободы

Бальное платье

Выпускное платье «порадовало» – мамина портниха постаралась на совесть: рюши, воланы, оборки, самой Маринэ и не видно – в рюшах потерялась! Прибавьте к этому глухой ворот и длинные рукава – и картина готова. Хотелось плакать, но плакать было нельзя, возражать тоже нельзя, можно только молчать и думать, как же ей в таком – танцевать... Маринэ глотала слёзы и молила бога о помощи, потому что умолять о чём-либо родителей не имело смысла. И бог её услышал.

Счастье обрушилось внезапно: отца срочно вызвал в Леселидзе директор завода по переработке фруктов (Маринин папа, имевший три авторских свидетельства и море рационализаторских предложений, разрабатывал для завода оборудование).

Валико Наргизович был давним другом отца, и вот – звонил и приглашал «отдохнуть за счет заведения»: на заводе устанавливали новую линию, требовалось присутствие разработчиков, причем требовалось срочно. «Дочка не сможет приехать, у неё экзамены, десятый класс. А мы с женой с удовольствием!» – услышала Маринэ и не поверила своему

счастью.

– Маринэ. Ты взрослая девушка, семнадцать скоро. Справишься. Сдашь на пятёрки и – на бал, всех покоришь в новом платье. Видишь, какое дело... Валико звонил, что-то у них там не ладится с автоматической линией. Я не могу отказать, я же разработчик, мои чертежи, моя идея, и линия эта – моя! Видишь, какое дело... Справишься одна? Не подведёшь? А мы с мамой поедem... Погода там хорошая, море тёплое. Валико квартиру обещал, там до моря полчаса.

Маринэ улыбнулась и заверила родителей в том, что она «справится и не подведёт». Будет заниматься с утра до вечера, будет стараться изо всех сил (сколько Маринэ себя помнит, ей всегда твердили об этом, «изо всех сил» стало нормой, «не бездельничать» превратилось в привычку). Можете во мне не сомневаться, дорогие родители. Хотя... подарок просто царский.

Провожать родителей не пришлось: Регина вызвала такси, Маринэ помахала из окна рукой. И почувствовала себя свободной.

На зарядку шагом марш!

Нелюбимый (ненавидимый, ежевечернее наказание, стиснутые зубы, стиснутое горло, не глотается) творог был извлечен из холодильника и отправлен зимовать на юг, то есть – в мусоропровод. Маринэ с вожделием открыл дверцу холодильника. Так... Что у нас тут есть?.. Телятина! Маринэ умеет её жарить, а ещё она купит базилик, тархун, листовой салат, сельдерей и томатный сок. Денег ей оставили достаточно, она потратит их с пользой, она уже взрослая, ей почти семнадцать. Впервые за семнадцать лет Маринэ осталась одна, и ей ни капельки не одиноко!

Её ужин состоял из толстого (в палец толщиной) куска жареного мяса, щедро посыпанного зирой и крупными кольцами репчатого лука. Сверху лежала веточка тархуна, в соуснике – полстакана томатного сока, заменявшего соус (Маринэ добавила в него свежий чеснок, растёртый в ступке, с зелёной петрушки и кинзы). «Блеск!» – вслух сказала Маринэ, оценив внешний вид и качество приготовленного ею блюда. «На сладкое» был кусок ржаного хлеба, который она посыпала крупной солью и с аппетитом съела, обмакивая в блюдечко с кукурузным маслом.

На ходу дожёывая хлеб, поставила диск Штрауса и танцевала под него в темноте, представляя, как будет танцевать с Отаром вальс, и охваченная немислимым восторгом... пока

не налетела на стол. Больно ударилась об угол (синяк обеспечен, можно не сомневаться) и долго хохотала, в пустой квартире, морщась от боли и глядя ушибленную ногу.

Потом взялась за платье. Прежде всего отрезала рукава (аккуратно отпорола, потом пришьёт «на руках», она умеет шить). Потом долго мастерила лекало, прикладывая его к спинке платья и сомневаясь, не много ли... Приколола булавками и, взяв ножницы, решительно отрезала добрую половину спинки (потом подложит снизу ткань и пристрочит отрезанный кусок на машинке, она успеет это сделать, должна успеть...)

Потом наступила очередь оборок, которые она без сожаления отпорола. Апофеозом стал подол, который Маринэ отрезала по самое некуда.

Свобода на этом не заканчивалась, она была бесконечна, и Маринэ задумалась: что бы такое сделать? Может, позвонить одноклассникам? Впереди у неё целый вечер, и «прожить его надо достойно». Завтра – готовиться к следующему экзамену, а сегодня – бродить по улицам до темноты дружной веселой ватагой и щебетать о пустяках. О чём именно – Маринэ не имела представления, ей некогда было «щебетать», да и не хотелось.

Гулять она тоже не привыкла, всегда была занята, и в свои неполные семнадцать не понимала, для чего её одноклассницы бесцельно ходят по улицам, получая от этого удовольствие. Маринэ словно наяву слышала голос матери: «Тебе

нечего делать? Займись гимнастикой. Что значит, устала? Можно подумать, ты камни ворочала. Устала, так возьми своё вышивание, ты его год закончить не можешь...»

Она не будет никому звонить. Вымоет полы, вычистит пылесосом ковры, потом завалится на диван, читать любимого Клиффорда Саймака и гулять по незнакомым планетам чужих миров. А вышивание к чёрту!

С блюдцем жареных фисташек (в испанские гастроли она больше не верила, ей надоела бесконечная диета, было бы из-за чего, надоели эти фламенко и этот противный Арчил, слинять бы из ансамбля, да разве отец позволит?) Маринэ забралась с ногами в отцовское кресло и, завернувшись в плед (на дворе был июнь, но это её не смущало, под пледом было комфортно), читала, пока не начала зевать.

Поднялась с кресла и поплелась делать гимнастику. Это уж обязательно, даже если устала, даже если заболела – без ежедневной «настройки» тело будет фальшивить. Идти ему на уступки нельзя, иначе оно будет тобой управлять и приказывать, а отдавать приказы должна ты. – «На зарядку шагом марш!» – скомандовала себе Маринэ. Через час она с наслаждением вытянулась на крахмальных простынях, чувствуя лёгкую боль в усталых мышцах и испытывая невыразимое блаженство.

К чёрту послать эти танцы, и музыку к чёрту. Поступить бы в цирковое училище, да родители не позволят... Да и не примут, ей почти семнадцать, в семнадцать там уже профес-

сионалы, а Маринэ никто, школу окончила – подумаешь, подвиг! Школу кончают все. Она ничего не знает, ничего не умеет... кроме французского, коньков, плавания и танцев. Ах, да, ещё музыка. Ну и гимнастика, это уж обязательно, иначе гибкости не будет, и тогда – какие танцы... Гимнастики из нее тоже не вышло, два года всего занималась. Слава богу, только два.

Так какой же институт выбрать? Может, Иняз? Отар, «спустившийся с гор», в Физтех поступать собирается, он физику любит больше гитары, интересно ему... А овец любит только в виде шашлыков. Шашлык он клятвенно обещал ей с первой стипендии. Она так и уснула – с улыбкой, с мечтами о шашлыке и об Отаре.

Часть 10. Гэмо (груз.: послевкусие)

Срыв

На звонки подруг Маринэ отвечала однозначно и односложно: «Извини, не получится», «Не могу», «Не хочу», «Нет времени», «К сожалению, я очень занята». Одноклассницы прозвали её необитаемым островом и недотрогой – за то, что не ходила на классные «огоньки» с очень «смелыми» танцами и не очень трезвыми мальчиками («Я бы пошла, но мне родители не позволяют... такое»), не ездила с классом на экскурсии («Я бы поехала, но у меня занятия в клубе, каждый день, пропускать нельзя» – «А что за клубешник такой, чем вы там занимаетесь?» – «Мы танцу... мы там в шахматы играем» – прикусила язычок Маринэ. И услышала в ответ: «Ну и дураки!»)

Ещё за то, что не гуляла с подругами после уроков («Не могу, мне в музыкалку надо» – «Ну, тогда после музыкалки» – «После музыкалки уроки делать надо... Нет, не получится»). Одноклассницы на неё обижались, а Маринэ не обижалась, поскольку они так и не стали для неё подругами. Ну и пусть. У неё есть Отари, а больше ей никого не надо.

Выпускные экзамены она сдала с тремя тройками. Не блеск, конечно, но на четвёрки не хватило сил. Маринэ си-

дела над учебниками, наверстывая упущенное (некогда было учить, весь год бегом-кувырком, кое-как) и не позволяя себе отдыхать (отдохнёт, когда экзамены сдаст). С утра гимнастика, потом в душ, потом заниматься... Завтракать, заниматься, обедать, заниматься, вечером телевизор, гимнастика, душ, томатный сок и спать. Говорят, когда спишь, всё прочитанное за день укладывается в голове по полочкам, а утром просыпаешься – и всё помнишь.

Но знания не хотели «укладываться по полочкам» в Марининой голове, они странным образом перепутались, переплелись в клубок правил, формул, теорем и аксиом... На экзамене по английскому как назло лезли в голову французские глаголы, а предложенный текст упрямо не желал быть переведённым на русский и сам собой перевёлся на грузинский. Маринэ взяла себя в руки и перевела текст «обратно», с грузинского на русский. В итоге получилось что-то странное, учительница качала головой и хмурилась. Маринэ лучше всех в классе знала английский, что с ней сегодня, текст перевела безобразно...

Обидно до слёз, тройка в аттестате по английскому!

На химии и того хуже... Маринэ два дня сидела над учебником не поднимая головы, а на экзамене ничего не могла вспомнить. Последний удар нанесла геометрия. Билет ей достался лёгкий, теорема о подобии треугольников, а задача оказалась трудной. Не тратя времени на теорему, Маринэ взялась за задачу. Записала полученный ответ, потом реши-

ла задачу ещё раз – для проверки и самоуспокоения. Ответ получился другой. Тогда Маринэ решила упрямую задачу в третий раз, и получила... третий ответ.

Когда её вызвали, она не успела выбрать – который же из трёх... Обречённо поднялась из-за парты, на негнущихся ногах подошла к столу и разжала кулак. Учительница посмотрела на неё с удивлением и расправила мятые листки. Три варианта решения и три варианта ответа. Круто девочка берёт! Ничего не боится, бросила чуть ли не в лицо смятые бумажки – разворачивайте и читайте, а я посмотрю.

– Метревели, как всегда, в своём репертуаре. Одного решения ей мало, написала сразу три, на выбор! (всем весело, над Маринэ смеётся весь класс... Её выставили на смех, оскорбили ни за что, а она даже ещё не начала отвечать. Такого она не простит даже учительнице. Не простит).

– Ну, хорошо. Что там у тебя в билете, подобные треугольники? Ну, расскажи нам о треугольниках.

Маринэ мотает головой, откидываясь.

– Это что за жесты такие? Если не знаешь теорему, так и скажи, словами, а головой будешь мотать на уроке физкультуры.

– Знаю я теорему! – обиженно буркает Маринэ.

– Тогда – прошу к доске, слушаю тебя.

Маринэ опускает голову ещё ниже и сдавленным от слёз голосом выдаёт совсем уж невероятное: «Не буду. Задачку я решила, а теорему все знают, значит, нечего и рассказывать»

Опешившая от такой дерзости учительница не понимает, что такое поведение – месть за нанесенную обиду, за то что её выставили на смех перед всем классом. Но отдаёт себе отчёт в том, что с девочкой творится неладное: лицо несчастное, щеки впалые, губы дрожат.

«Что с тобой, что стряслось, девочка моя?» – хочет сказать учительница, но педагогический опыт берёт своё, и вслух она говорит (милостиво изрекает) совсем другое: «Ннну, допустим. Допустим, что ты знаешь эту теорему. А задачка решена неправильно – все три ответа неверны. Как же так, Марина? Может, объяснишь, как ты решала, и попробуем вместе? Ведь ты решила... почти правильно, и что интересно, необычным способом... Метревели!! Что это значит?! Ты куда?..»

Не слушая больше учительницу (хватит с неё унижений, никаких «вместе» не будет, Аллу Ивановну она видит в последний раз), Маринэ берёт со стола исписанные листки и выходит из класса. Спина прямая, подбородок поднят, на лице презрение и гнев, брови сомкнуты. Что с ней сегодня? Задачку не смогла решить, а ведь училась почти без троек...

Послевкусие

Гамоцда (экзамен) позади, по геометрии тройка, по химии тройка, по английшу тройка, дзалиан сацкхения (ужасно жаль), но можно и порадоваться: это последний экзамен, больше такого позора не будет. Гмэрто чэмо (боже мой), что скажут её родители, когда увидят три тройки! Не поверят, что она занималась, подумают, что у телевизора сидела весь день, три тройки, какой позор, гмэрто чэмо...»

Постоянные непомерные нагрузки, ставшие уже привычными, дали о себе знать в самый неподходящий момент, и Маринэ сорвалась, удивляясь самой себе и не понимая, что с ней происходит: голова отказывалась воспринимать прочитанное, отказывалась запоминать и думала чёрт знает о чём. К чести Маринэ, троек в аттестате только три, остальные четвёрки, пятёрки – ни одной. Она отдавала себе отчёт в том, что аттестат мог быть гораздо хуже, ей просто повезло: достались «хорошие» билеты. И Маринэ справилась с собой и не допустила окончательного срыва, но – увы! этого никто не оценит.

Три тройки не конец света, родители поставят дочку «в позу» (лобное место посреди гостиной, «в пол не смотреть, смотреть в глаза, когда с тобой разговаривают!») и будут два часа читать мораль и огорчаться, что Маринин позорный аттестат о среднем образовании не покажешь друзьям семьи,

гордиться нечем, одна тройка ещё куда ни шло, но три!! Три тройки – это уже слишком.

«Гульдасацхквэтиа! (до чего обидно!). Порадовала родителей, что уж тут скажешь... Ну что ты плачешь, тебя никто не наказывает, хотя надо бы... Три тройки не конец света, найдем репетитора и будешь заниматься в хвост и в гриву весь месяц, и попробуй только не поступить в институт! Попробуй только! Институт-то выбрала уже? Иняз? МГУ?»

Что ты молчишь? Счастье твоё, что тебе семнадцать, выпал бы за такой аттестат... Бесполезно. Вот выдадим тебя замуж и вздохнём свободно, пускай тебя муж воспитывает, может, у него получится, а мы с матерью в сторонке постоим, посмотрим.

Не реви, на экзамене надо было реветь, может, четверку поставили бы... Что теперь-то плакать? Всё кончилось, всё уже позади. Забудь уже – своих учителей, математичку эту, гомбэшо! Школу эту, чаоби! Иди, лицо умой, и будем праздновать, всё же – аттестат получила, первый шаг во взрослую жизнь»...

«Гиоргис, почему она улыбается, что ты ей сказал? Марина, когда отец говорит, ты слушать должна, а не смеяться... Что он тебе сказал?»

Маринэ без звука исчезает за дверью и, закрывшись в ванной, садится на низенькую скамеечку. Экзекуция закончилась, можно перевести дух и жить дальше. Ужасно неприятно, она ведь столько занималась, что же с ней случилось,

что сегодня пришлось краснеть перед родителями и выслушивать обидные слова. Отчитали как маленькую!

Маринэ горько усмехнулась. Когда отец волнуется, он переходит на грузинский, а мама не понимает (семнадцать лет с ним живёт и языка не знает, только слов двадцать, а Маринэ говорит по-литовски и по-грузински. И эстонский немного знает, и абхазский немного... Французский свободно, а ещё музыкальные термины на итальянском, на них вполне можно объяснить, хотя это будет смешно...) А мама даже не поняла, что отец назвал школу болотом, а математичку жабой. А Маринэ поняла.

Ещё она поняла, что отцу наплевать тридцать три раза на её школьный аттестат, он для мамы старается, чтобы видела, как он дочь воспитывает.

После ухода Маринэ Гиоргис тяжело вздохнул и сказал жене: «Ты довольна? Это из-за тебя она не выдержала. Она сама себе не рада, а мы с тобой ей ещё добавили».

Он был зол на школьных учителей, из-за которых его единственная дочь полчаса стояла перед ним с опущенными плечами и смотрела в пол (и на себя, за то что полчаса её отчитывал, а она плакала, и на Регину, которой, было всё равно). Срыв, ясное дело. Перезанималась. Не потянула. С трёх лет в ежовых рукавицах держали, всё нормально было, справлялась. А в семнадцать не выдержала. И выглядит неважно, и похудела, хотя уже некуда больше худеть... К чёрту эти танцы, и Арчил с женьитьбой пусть подождёт, ей

семнадцати нет, и выглядит плохо, какая из неё жена... Восемнадцать исполнится, тогда и поговорим. В любом случае, решать будет Маринэ, он не продаст свою дочь этому... Хоакину Кортесу.

Часть 11. Выпускной

После бала...

Но всё это случится потом, когда вернутся из Абхазии родители, а пока – долгожданная свобода кружит голову, а впереди выпускной бал, её первый бал, на котором Маринэ будет танцевать с Отари. Она многому его научила, Отар может изобразить такое, что ни у кого не получится!

Мясная и томатная диета не подвела, томатный сок иногда заменялся ацидофилином, а мясо адыгейским сыром или Марининым любимым сулугуни. Десерт – ломоть ржаного хлеба и большая чашка кофе, сваренного по-турецки (очень крепкого, три ложки на чашку), со сливками и без сахара. Маринэ с аппетитом ела, прекрасно себя чувствовала и целыми днями занималась «в хвост и в гриву», навёрстывая упущенное. И умудрилась похудеть, хотя худеть было уже некуда. (Выручит белое платье, возьмёт на себя все нюансы-реверансы).

И наконец – выпускной бал, на который она явилась «как мимолётное виденье» в белом платье, расшитом сверху до низу длинными рюшами цвета потускневшего серебра. Никто из её одноклассниц не надел бы такое: рюши зрительно увеличивали объём, а «объёмов» им хватало и без того.

Маринэ фасон не смущал, а серебряные ручки рюш, люющиеся по ткани, приводили в восторг. Платье имело глухой ворот и не имело спины. Спина была – самой Маринэ, с восхитительно длинными прямыми линиями лопаток и матовой чистой кожей без прыщей и прочих «возрастных» признаков. Поднятые вверх волосы открывали затылок (если плечи максимально отвести назад, позвонки почти не выпирают). Тонкие руки, тонкая даже в белом платье талия...

Платье сидело идеально и при каждом шаге струилось серебряными ручейками рюш. Хорошо, что Маринэ не стала их отпаривать (она хотела, но рюшей было так много, что у неё опускались руки. Их ведь потом обратно пришивать придётся, иначе страшно подумать, что будет... Нет, лучше не думать!)

Рюши были оставлены – и теперь сияли и сверкали. Маринэ тоже сияла и ни с кем не хотела танцевать. Она ждала Отари, которого пригласила на свой первый бал и который обещал быть: «После тренировки – железно! Обещаю! Приду, даже если в рожу приложат» – и Маринэ звонко хохотала, представляя как он придёт «с приложенной рожей» и она пойдёт с ним танцевать. Всё равно пойдёт! Отар неплохо двигается, умеет, Маринэ сама его учила – во дворе музыкальной школы, за угольной кучей. Она показывала, Отар повторял. У него получалось здорово, движения он запомнил с первого раза (в танце главное – запоминать движения и правильно их выполнять).

Первый поцелуй и первый вальс – всё у них было на угольной куче, так уж сложилась жизнь. Маринэ вспоминала и ждала Отара, но так и не дождалась. В Маринину школу Отара не пустили. («Ты куда так разлетелся, парень? К подружке, говоришь? Пригласила, говоришь? Танцевать-то умеешь? Умеешь, говоришь? Тогда – танцуй отсюда, тут дети, выпускной у них, а ты куда припёрся, тебе на рынке кинзой торговать»).

Отар стиснул зубы, чтобы не сказать сгоряча слова, о которых потом будет жалеть, и ушёл. А что он мог сделать? Он один, а их много, они старше и с повязками дежурных. Скажут – бандит, чечен, хотел школу поджечь... И не докажешь, что – не чеченец, а лезгин (хотя – какая разница?), что пришёл танцевать с Маринэ, и больше ни с кем...

Не дождавшись Отара, Маринэ спустилась вниз. У выхода топтались дежурные, краснели огоньки сигарет и слышалась площадная лексика – дежурные успели выпить.

– Тебе чего, девонька? Покурить вышла? – Ха-га-га-ааа! – рассмеялись своей шутке дежурные.

Маринэ приняла шутку всерьёз, помотала головой, отказываясь от сигареты, и неожиданно для самой себя отправилась домой. Была уже ночь, на улице ни души, и Маринэ бежала, подгоняемая страхом, напрочь забыв о школьном праздничном ужине и поездке на катере по Москве-реке.

Она всё поняла. Отару вообще не позволили войти, а без него ей здесь нечего делать: ни подруг, ни друзей, никого (за-

слуга родителей, но что об этом говорить? – важен результат, а результат налицо).

С бьющимся сердцем сунула руку в кармашек бального платья – ключи на месте, не потеряла! Отперла три замка и, закрыв за собой дверь, привалилась к ней, касаясь голой спиной гладкого железа, и ей стало ещё холоднее. Маринэ опустилась на корточки и долго сидела на полу, в пустой квартире, не зажигая света. Так и уснула, с мокрыми от слёз щеками, прижавшись к стальной двери ледяной от холода спиной и обхватив руками колени. Счастье кончилось.

На следующее утро Маринэ взялась за платье – пристрочила отрезанную спинку, старательно пришила оборки и притачала рукава, удивляясь собственному безразличию. К приезду родителей платье обрело прежний «средневековый» вид и заняло подходящее ему место в платяном шкафу. На вопрос, как прошёл её первый бал, Маринэ ответила: «Мне понравилось». Ей хватило сил улыбнуться и сделать невозмутимый вид. О том, как она провела свой первый бал, родители так и не узнали.

Годом раньше

Как назло, вспомнилась музыкальная школа, которую она окончила годом раньше. Экзамены. И выпускной вечер, на который ей не позволили пойти, потому что «не за что» («Нечего тебе там делать. Регина, посмотри на нашу дочь! Разоделась как на праздник, на выпускной собралась... За такие оценки ремень полагается, а не выпускной! Раздевайся, я сказал. Никуда не пойдёшь, даже не думай. Тройка по специальности, позор-то какой! Отблагодарила родителей за заботу, за ученье... Я ведь не посмотрю, что тебе шестнадцать лет, ты у меня дождёшься... Ты что, умерла?! Платье снимай, сказал!! Сейчас вспомнишь... сонату Торелли»).

Маринэ со страхом посмотрела на отца, послушно вылезла из платья, и отец залюбовался её точёной фигуркой в атласной белоснежной комбинации и стройными ногами. – «Ну!! Что застыла? Ступай за рояль, играй сонату, а мы с матерью послушаем, чему тебя научили».

Маринэ молча прошла в свою комнату, села за пианино и открыла ноты злосчастной сонаты. Ничего в ней нет сложного, и как она могла её забыть! «И переоденься! – громыхнул отец, и Маринэ вздрогнула. – Не пристало в одной комбинашке по квартире бегать, не маленькая уже... Но сначала сонату. Сыграешь нам с матерью эту чёртову сонату, потом можешь делать что угодно. В своей комнате. К телефону не

подходить».

Вот же не повезло... Отар даже не узнает, что она не придёт. Так что вместо выпускного был «бахчисарайский фонтан» слёз, «бестолочь», «лентяйка «и «бездарь», последнее обиднее всего. И хотя её не тронули и пальцем («Только тронь её, сама получишь, обещаю» – сказал Гиоргис Регине, и Маринэ ахнула) – только не пустили на выпускной, не разрешили телефон, не разрешили телевизор и усадили за роль учить наизусть злосчастную сонату, – Маринэ проплакала весь вечер, стирая с клавиш слёзы носовым платком.

А всё потому, что на экзамене она забыла сонату. Первую часть помнила, а вторую забыла напрочь. Что называется, как отрезало! Соната была длинная, на одиннадцати страницах, и состояла из трёх частей: «Andante», «Grazioso» и «Allegro ma non troppo» («быстро, но не слишком»). Маринэ знала наизусть все одиннадцать страниц, хотя они дались ей с трудом. Другие две пьесы – «Кобольд» Эдварда Грига и этюд a-moll (ля минор) опус 76, №2 Яна Сибелиуса она играла без запинки и в хорошем темпе, а злосчастную сонату забывала в самых неожиданных местах, и приходилось заглядывать в ноты.

Часть 12. Педагогические методы

Нина Даниловна

– На экзамене нот не будет, – говорила преподавательница по специальности Нина Даниловна, и заставляла Маринэ заниматься так, словно она собиралась поступать после школы в музыкальное училище или даже в консерваторию. Результат был блестящим – в пятом, выпускном классе Маринэ свободно играла программу первого курса музыкального училища.

Нина Даниловна с гордостью «показывала» ученицу другим педагогам, которые удивлялись и качали головами: девочка играла сложные вещи, причем играла музыкально и технически грамотно. – «Ниночка Даниловна, вы нас всех поразили! Как вам удалось добиться таких результатов? сотворили. Ей ведь... лет тринадцать, а как играет! Чудо! Ниночка Даниловна, вы сотворили чудо!» – рассыпались в комплиментах преподаватели. Нина Даниловна расцветала улыбкой, принимая поздравления и чувствуя себя на седьмом небе от заслуженных комплиментов. Как чувствовала себя Маринэ, никто не интересовался: справляется с программой, значит, это её уровень.

Среди педагогов музыкальной школы бытовало мнение,

что все дети разные (в этом они были правы), и не надо всех «причёсывать под одну гребёнку» (с этим тоже нельзя не согласиться), надо требовать от каждого по способностям, иными словами, выжать из ученика всё, на что он способен. С последним позвольте категорически не согласиться.

Впрочем, кто же вам такое позволит – не согласиться с общепринятым мнением, выступить против педагогического коллектива, понизить рейтинг учебного заведения... Палка о двух концах. Каждому педагогу хотелось быть на месте Нины Даниловны, но такие ученики были далеко не у всех, в основном – посредственность, тарабанящая этюды Черни и «Шарманщика» Франца Шуберта в одном и том же *allegro moderato* (итал. муз термин: не очень быстро) и не обращая никакого внимания на стоящее у Шуберта *etwas langsam* (немецк.муз термин: довольно медленно) – «А я могу играть это быстрее, и зачем мне *etwas langsam*, если у меня получается *etwas lebhaft* (немецк.муз.термин: несколько оживлённо).

Объяснять, что если в нотах композитором указан темп, это означает, что в другом темпе эту вещь играть категорически нельзя, такому ученику бесполезно: он всё равно сделает по-своему и будет гордиться, что играет быстрее, чем того хотел композитор. Это его уровень. Предел возможностей – «Утешение» Ференца Листа. Предел мечтаний – вальс до-диез минор (опус 64, №2) Фридерика Шопена, наплевав на *tempo giusto* (итал.: играть не отклоняясь от темпа) и иг-

норируя присущее шопеновским вальсам *vivace* (итал.: живо). Какое там *vivace*! А чем вас не устраивает *lento*, ма *non troppo*? (итал.:медленно, но не слишком). Как могу, так и играю, вы и так не можете.

И наконец, «вертикальный предел» – симфония соль минор Моцарта, вместо указанного *allegro molto* (очень скоро) – без зазрения совести исполняемая *andante* (неторопливо), с молчаливого одобрения педагога.

Несколько слов о музыке

Нина Даниловна знала, кого можно погладить по головке за *andante* (умеренно) вместо указанного *presto* (очень быстро), а кого по этой самой головке постучать, и тогда из него «что-нибудь да выйдет». Она выбрала для Маринэ экзаменационную программу повышенной сложности и прелестную, как она выражалась, сонату Торелли на одиннадцати страницах – ей хотелось похвастаться перед коллегами ученицей, которая в выпускном классе музыкальной школы может сыграть – такое.

Маринэ она считала необыкновенно артистичной и любила больше других учеников: девочка понимала и чувствовала музыку и училась с удовольствием, старательно «набивая» тонкими пальчиками инвенции и фуги Баха... на закрытом крышке рояля (!).

Игра «на крышке» была любимым методом обучения у Нины Даниловны. После безошибочного исполнения на рояльной крышке прелюдии и фуги до минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира» рояль открывался, и до-минорная неслабая фуга (первая часть *allegro energiko articolato*; вторая – *presto sempre molto, allegro*, последняя часть *allegretto*, но на сплошном росо и *rochissimo staccato*) – фуга, что называется, отлетала от пальцев. Что и требовалось для «хорошо темперированного клавира»

Термины: первая часть аллегро энергико артиколато – быстро, энергично и отчётливо; вторая часть престо семп-ре мольто – очень быстро и очень выразительно, далее одна строчка (!) медленного *adagio* (добрый Бах просто расщедрился, иначе и не скажешь), затем опять престо – очень быстро и выразительно, и наконец, последние две страницы аллегretto – умеренно, зато на сплошном стаккато (отрывистое звучание) с бесконечными крещендо (постепенное усиление звука), и последняя строчка – очень певуче.

И ещё немного – о музыке

...И всё это – в до миноре с тремя бемолями, и на сплошных шестнадцатых! (размеры нот: целые, половинки, четверти, восьмые, шестнадцатые, а есть ещё тридцать вторые, которые играют как вихрь из нот...) При размере такта «целая» в одном такте будет шестнадцать этих самых шестнадцатых, вот и подумайте, как сыграть их в темпе *presto* на рояльной крышке и ни разу не ошибиться! Я не говорю уже о пальцах, которые обыкновенно пишут карандашом под каждой нотой и которые тоже надо выучить – каким пальцем какую ноту, иначе вы ничего не сможете сыграть в таком темпе, тем более Баха.

Маринэ играла на крышке до тех пор, пока у неё не начали болеть подушечки пальцев. Тогда она открывала крышку, и играла по—настоящему, стараясь не думать о том, что её одноклассницы тоже играют – в вышибалы, казаки—разбойники, волейбол и прятки. Маринэ знала эти игры, в Леселизде у неё было много друзей, а в Москве никого, только Отар и Ирочка Раевская, раз в неделю, на переменах, когда в музыкалке сольфеджио...

Маринэ добросовестно разучивала инвенции и фуги, этюды и менуэты, ноктюрны и вальсы. Её любимым темпом был *allegro con spirit* (быстро, с воодушевлением). У неё получалось блестяще, и от Нины Даниловны ей доставалось меньше

всех, зато другие, что называется огребали полной мерой...

«Педагогические» приёмы

Методы обучения Нины Даниловны были, мягко говоря, своеобразны. Например, она могла спросить ученицу: «Что с тобой случилось, играешь хуже некуда, ты не подготовилась к уроку? Или ты влюбилась в кого-нибудь? Ааа-а, покраснела! Значит, влюбилась, всё с тобой ясно. Ну, играй дальше, и будь повнимательней»

После этого «играть дальше» было проблематично, ученица заливалась краской (может, Нина Даниловна угадала?) и ошибалась ещё больше. Покидая класс с заслуженной тройкой с минусом, вздыхала с облегчением и думала, что двойка была бы честнее.

Или вот ещё – была у Нины Даниловны ученица, которая страшно боялась играть в зале, где проходили экзамены. Она терялась, стеснялась и «лепила» на рояле совсем уж невозможное, тогда как в классе играла артистично и выразительно. Нина Даниловна, чтобы побороть её страхи, заставляла её играть в зале каждую неделю, уговаривая не бояться и убеждая, что – «и зал-то небольшой, и смотреть-то на тебя никто не будет, кому ты нужна, и комиссия далеко сидит, и не увидит, как ты пальцы подмениваешь безобразно... Наденька, ну что мне с тобой делать? Придётся звать тебя зайцем, если ты такая трусиха!»

И действительно, «забывала» её имя и звала зайцем. «За-

яц Александрова пришла! Садись за рояль... Ну, что нам зайка сегодня сыграет?». Наденьку это сначала развлекало, потом нервировало, и наконец начинало бесить – тем более, что Нина Даниловна звала её зайцем при других учениках, и они дразнили её зайчихой и матушкой крольчихой (мультфильм читатели помнят, я надеюсь?). Наденька ничего не могла с этим поделать, и от злости сильно стучала по клавишам, за что «педагогичная» Нина Даниловна прозвала её зайцем-барабанщиком...

Для Маринэ она придумала экзаменационную программу повышенной сложности (хотя Маринэ не собиралась поступать в музыкальное училище, и Нина Даниловна об этом знала) и пытку сонатой Торелли, которая никак не хотела укладываться у Маринэ в голове и не запоминалась наизусть, хоть ты тресни! Вроде всё выучила, и – всё равно забывается несколько тактов, то в одной части, то в другой. Но делать нечего – Маринэ легла костями (по её собственному выражению) и выучила сонату назубок. Остальное тоже выучила, потому что на выпускном экзамене всё полагалось играть без нот.

Часть 13. Скандалиозо грациозо

Несчастье

Беда пришла неожиданно: Маринэ с чувством сыграла «Анданте» и... остановилась: «Грациозо» вылетело из памяти напрочь. Обернула к залу растерянное лицо и с мольбой смотрела на учительницу (может, догадается ноты дать? Хотя не даст, нельзя...), но Нина Даниловна лишь кивнула успокоительно: «Играй Грига, а сонату потом».

Если бы не последние слова, она бы сыграла «Кобольда» блестяще, как играла дома и в классе. Но она не смогла, потому что думала о сонате, и Григ посыпался горохом. Маринэ играла «на нервах», без выражения, без пауз и на forte (итал. муз. термин: громко), экзаменационная комиссия хмурилась и переглядывалась («И это лучшая ученица Нины Даниловны Астаховой?! За то, что она делает сейчас с Григом, надо бить по рукам!»).

Сыграла. Зал молчал.

Кто не знает, на выпускных экзаменах в музыкальной школе играют так, что собирается полный зал – послушать. Входить никому не препятствуют, впускают всех, выходить во время исполнения нельзя, можно только в паузах. «Зрители» приходят обычно заранее и не покидают зал до конца

концерта, то есть – экзамена по специальности.

«Покончив» с Григом, Маринэ с надеждой посмотрела на учительницу. Та поняла, сказала негромко: «Играй этюд». У Маринэ отлегло от сердца. Может быть, если она блестяще сыграет этюд, её не заставят играть сонату? Сыграть, как Мацуев, у неё не получится, но попробовать стоит...

Здесь несколько слов о ля-минорном этюде опус 76, номер 2 Яна Сибелиуса. Этюд технически сложный и исполняется *presto* и даже *prestissimo* (итал.: «очень быстро» и «быстро, как только возможно»), сложность заключается в том, чтобы удержать темп, не ускоряя и не замедляя (некоторые в азарте умудряются ускорить *presto* до *prestissimo*, что считается грубой ошибкой).

Нина Даниловна не уставала повторять, что «темп надо держать, Мариночка, темп возьмём престо, престиссимо оставим профессионалам, и на пассажах не сыпаться и не фальшивить! Занимайся хотя бы два часа в день, а по воскресеньям три, и всё получится».

Маринэ молчала (если сидеть по три часа за роялем, то не останется времени ни на уроки, ни на фламенко, а в воскресенье она останется без катка).

Ну уж нет! Чёрт с ним, с Сибелиусом, с Марининой техникой ей вполне хватит часа в день, в воскресенье полтора. Три часа за роялем – это из области фантастики: с семи утра спортзал, Кобалия и фламенко, вечером – три часа на катке под Галины бесконечные стенания о том, как она устала.

Знала бы она, как устает Маринэ, но успевает отдохнуть и восстановиться (пластом на диване с «Опасными связями» Шодерло де Лакло, естественно, в оригинале, потом обедать, потом полтора часа за пианино – и на каток). И катается с удовольствием.

Экзамен по специальности традиционно проходил в зале. Маринэ взяла себя в руки, вышла на сцену, поклонилась (поклон обязателен), села за рояль (настоящий концертный «Грюндиг») и подвигала стулом, усаживаясь поудобнее. Потом будет нельзя, это делают перед началом игры.

Этюд она начала в хорошем *presto* («очень быстро») – в унисон с двигателем грузовика, который занудливо тарахтел во дворе, но тарахтел как раз в темпе престо, и Маринэ, рассудив, что переиграть грузовик она не сможет, вступила, что называется, в унисон... Она бегло тарабанила этюд, не замечая как убыстряется тарахтенье двигателя за окном и автоматически прибавляя темп. Финал был печальным: грузовик завёлся и уехал, а Маринэ осталась, с разогнанным до *prestissimo* («быстро, как только возможно») темпом! Так и доиграла этюд – на бешеном престо, которое «для профессионалов».

В зале раздались аплодисменты. На лицах членов жюри читалось недоумение: сыграть так технично и ни разу не ошибиться... и так разогнать темп! Грубейшая ошибка, а девочку жаль, могла бы... Но не смогла. Этюд загубила. Интересно, как она сонату сыграет...

– Сонату, Марина, со!на!ту! – прозвучал в оглушительной тишине голос Нины Даниловны. И Маринэ дрожащими (после бешеного престиссимо) руками начала играть... Andante, grazioso... на «грациозо» сработал стоп-кран, Маринэ не помнила ни строчки! Лихорадочная мысль – что теперь делать? Перед глазами как наваждение возникли и пропали чёрные точки нот... Ах, сейчас бы – ноты! Она бы сыграла grazioso по нотам, хотя бы начало, а дальше пальцы вспомнят сами, и allegro ma non troppo вспомнят, ей бы только ноты посмотреть...

Финал

Маринэ сложила руки на коленях и сидела с опущенной головой, пока в зале не начали переговариваться. Тогда – опомнилась, вскочила со стула и убежала за кулисы без поклона, «поклон обязателен, Марина, что ты себе позволяешь, забыла сонату, забыла поклон...».

Домой идти было страшно. До вечера она бесцельно бродила по улицам и думала о том, что с ней сделают дома и как она будет смотреть в глаза Нине Даниловне. Потом ей стало всё равно, и Маринэ поплелась домой, замерзшая и голодная.

– Трояк если поставят по спецалке, то... мне очень повезёт, – призналась она с порога.

– Что так? – равнодушно осведомилась мать, с ударением на каждом слове и без вопросительной интонации (интонация была – утвердительной).

– Сонату с середины забыла, Кобальда как мёртвая играла, этюд загнала, темп не удержала, – столь же равнодушно ответила Маринэ.

– Сонату забыла? Да ты её все время забывала, одиннадцать страниц не шутка. Твоя Нина Даниловна умом тронулась, это же училищная программа, первый курс. А ты ещё радовалась, дурочка... Что-нибудь полегче сыграла бы, получила бы «отлично», а теперь получишь то, что заслужила.

Не расстраивайся так, дочка. Бог с ней, с музыкой, гярэй (литовск.: ладно, хорошо). В десятом классе останется фламенко и с репетитором заниматься будешь. Тебе через год в институт поступать, а лентяям всегда репетиторов нанимают, сами учиться не могут потому что... Перевод денег. – Мать длинно вздохнула. – Гярэй... Ложись спать, поздно уже.

– Мама, o pietus... ура? O kas pas mus pietums? (лит.: Мама, а обед... есть? Что у нас на обед?"

– O tu zinai, kiek dabar valandu? (А ты знаешь, сколько сейчас времени?) Ужин на столе, ешь и ложись. Что теперь говорить... Спецпредмет – на тройку, какой позор! Ты хоть сольфеджио нормально сдай! Счастье твоё, что отца дома нет – в командировку улетел, в Нижний Тагил, там завод новое оборудование ставит, без Гиоргиса не обойтись. Через неделю вернётся, похвастаетесь успехами.

Ну, это онахватила... Отцу фоно (фортепиано) что есть, что нет, до лампочки, музыкалку окончила и – бэдниэрад (груз.: счастливо). Скажет: «Нина Даниловна с возу, коню легче», потом размажет Маринэ по паркету за тройку по специальности и успокоится.

Удивившись такой реакции матери (ждала расправы, а она её утешает, кто бы мог подумать), Марина с аппетитом принялась за творог. Есть хотелось так, что творог казался восхитительно вкусным, и почему она его раньше не любила? «Теперь вот полюбила!» – фыркнула Маринэ. Собрала остатки творога пальцем и, облизав его, с сожалением посмотрела

на пустую тарелку.

– Ма, можно ещё?

– Ещё?! Я тебе положила вполне достаточно. Ты всю ночь собираешься есть? Мой руки и ложись, и в следующий раз приходи домой вовремя.

Часть 14. Простите нас

Маринэ не спалось, что с ней случалось крайне редко: засыпала, не успев донести до подушки голову, а сейчас – лежала без сна, уставившись широко раскрытыми глазами в сереющий за окном рассвет (уже рассвет!) и вспоминая, как они с Отаром сдавали экзамен по сольфеджио.

Они всех обманули: зачётный диктант повышенной сложности написала Маринэ (два варианта, свой и Отара) а аккорды за неё «расшифровал» Отар. Аккорды играли на рояле, один за другим, несколько раз подряд: пять четырехзвучных септаккордов, которые требовалось записать нотами, так же, как диктант. Маринэ вечно их путала: квинтсектаккорд, сектаккорд, секундаккорд... тонический, доминантовый, субдоминантовый...

Аванти, пополо, алла рискосса!

– А знаешь, как я этюд играла? – Под грузовик! Сибелиус бы оценил, – хохотала Маринэ на угольной куче на заднем дворе музыкальной школы, куда они с Отаром сбежали от всех, чтобы наговориться всласть. Молчаливая девочка с огромными глазами на необыкновенном, запоминающемся лице и длинными косами, прилежная ученица «тише воды ниже травы» – с Отаром становилась озорной и лукавой девчонкой. С ним она была такой, какой её никто не знал – самой собой.

Отар всерьёз верил, что вырастет и увезёт Маринэ – далеко-далеко, и будет работать не покладая рук (руки у него сильные и мускулы железные, не зря он боксом семь лет занимается). Он всё сделает, чтобы Маринэ ни о чем не пожалела и была счастлива. Он никому и никогда не даст её в обиду, и в первую очередь её родителям. Вот только подождать придётся, пока восемнадцать исполнится. Тогда никому не позволю обидеть. Убью за неё!

Отар остался верен себе – вступился за незнакомую девчонку, которую вели «под конвоем» два парня, крепко держа за локти. Девчонка покорно шла и молчала. А глаза кричали, беззвучно умоляя о помощи. Отар равнодушно посмотрел на парней («не моё дело»), прошел мимо, усыпив бдительность «конвоиров». Ударил сзади, как учили (не на боксе, в

другой секции, в которую его отвёл преподаватель по классу гитары, обладатель коричневого пояса, почти мастер! Пути господни неисповедимы).

Отар ударил сзади, как учили: по шейным позвонкам соединёнными в замок кистями рук, вложив в них силу всего корпуса. Один из парней тихо охнул и стал заваливаться на бок, увлекая за собой девчонку. Она вырвалась и не оглядываясь побежала в ближний переулок, мелко стуча каблуками. Другой «конвоир» ошалело тряс головой, глядя на своего приятеля, который лежал на мостовой и словно бы спал, устремив в небо застывшие глаза. Отар тряхнул его за плечо: «Вставай, дорогой. Мужчины умирают стоя»...

Перелом основания черепа. Двенадцать лет колонии строгого режима (Отар так и не смог доказать, что заступился, девчонки и след простыл, и доказывать было нечего). Когда освободился, решил «не портить жизнь» Маринэ, которая к тому времени была уже замужем и воспитывала двоих детей (третьему было одиннадцать, и Отар о нём не знал).

Он всё-таки поехал, чтобы посмотреть в последний раз – на неё и на детей (так похожих на неё!), а потом уехать насовсем – далеко-далеко, куда они мечтали уехать вместе. Очень хотелось подойти и стиснуть Маринины плечи (правое осторожно, он помнил. Впрочем, может быть, плечо уже прошло). Но она будет плакать, а этого Отару хотелось меньше всего.

Это случится ещё не скоро, через двенадцать лет, а пока они с Маринэ топтались на угольной куче, давя башмаками куски шлака, и Маринэ от души хохотала, рассказывая про этюд «под грузовик»:

– Грузовик до *prestissimo* разогнался, и я с ним вместе разогналась, а потом он уехал, я этюд доиграла на *prestissimo* и ни разу не ошиблась! Мне двойку хотели поставить, за сорванный темп и за сонату. Меня бы дома убили, и ты бы сейчас тут со мной не стоял. Пожалели, выпускной всё-таки, и влепили трояк. Я домой идти боялась.

– А дома... что?

– Да ничего. Нет, мне правда ничего не было, мать нотацию прочитала, накормила и спать уложила. А отец через неделю приехал и полчаса мораль читал, а я перед ним стояла как девчонка.

– А потом?

– А потом сказал: «Иди прочь, с глаз моих долой».

Отар скрипнул зубами и пожалел, что ему нет восемнадцати. Увёз бы её, и жили бы как люди, и она бы никогда не пожалела.

Отар, которому Маринэ (никому на свете, только ему) рассказала, какое наказание ждёт её за двойки (если троек слишком много, то и за тройки), не мог допустить, чтобы она схватила трояк по «сольфедке» после сорванного экзамена по специальности, и угадал все десять аккордов, не допустив ни одной ошибки, и самое главное – передал неза-

метно Маринэ её вариант. Экзамен оба сдали на пятёрки и остались вполне довольны друг другом. Все остальные были недовольны, поскольку диктант им пришлось писать самим – Маринэ невозмутимо пожала плечами и молча отказалась.

Впрочем, никто не обиделся, написали сами, и всем достались четверки и пятерки. Ирина Львовна всех поздравила и пожелала не забывать свою школу и любить музыку, которая останется с ними на всю жизнь. Вытерла слёзы (она любила эту группу и сейчас расставалась с ними навсегда).

– Ирина Львовна, вы простите нас, если мы вас когда построили, – выдал Отар, и все засмеялись, и Ирина Львовна тоже. Отар сначала обиделся, а потом тоже рассмеялся.

За что извинялся Отар и почему все смеялись, расскажу позже, а пока – группа в полном составе топталась по угольной куче. Домой никто не ушел: им не хотелось расставаться. А всё равно придётся – музыкальная школа окончена, не будет больше уроков сольфеджио, не будет их дружной группы, диктантов, встреч и «милых» розыгрышей. Так что же, разойтись? Вот прямо – сейчас?

Спас положение Отар. – «А давайте пешком, до метро! Проведём наш последний урок... Ирка бы оценила...». Предложение было принято с восторгом, и они отправились в путь – всей дружной группой. До метро пять остановок, наорались всласть...

Последний урок

Они шли, улыбаясь и печатая шаг, и слаженно орали «Вернись в Сорренто» на итальянском, потом «Сулико» на грузинском, потом «перелезли» на испанский и вдохновенно исполнили «Avanti, popolo». Им уступали дорогу, и пропустив странную, красиво поющую группу, долго смотрели вслед. А они шли и радостно пели «Аванти, пополо, ала рискосса бандьера росса, трибунфера!» («Вперёд, товарищи, гори над нами победы знамя, свободы знамя!»)

Они исполнили практически весь репертуар школьного хора (хор раз в неделю, расписание на стенке, каждый переписывает свою партию – сопрано первый голос, альты и контральто – переписывают партии сопровождения).

Получалось красиво, и после нескольких репетиций (то есть, занятий), хор пел «как настоящий». Можно выступать. Они и выступили – на тротуаре, как уличные музыканты. Свою партию каждый помнил наизусть. Хор из восьми человек пел на ходу, на тротуаре, заменявшем сцену, ноги отбивали ритм... Много было перепето песен, жаль хоровик не слышал, как применили полученные знания его ученики.

Платье для фламенко

Теперь расскажу о том, за что извинялся Отар и почему так смеялась Ирина Львовна. Но сначала о дне рождения – ведь Маринэ исполнилось шестнадцать.

Экзамен по сольфеджио сдавали несколько групп в один день, у каждой группы своё время. Маринэ боялась опоздать и поглядывала на часы. Часы ей подарил на шестнадцатилетие Арчил Гурамович, которого Маринин папа зачем-то пригласил в гости и который «припёрся» с огромным букетом роз и прелестным платьем в красивой коробке (кроме платья, в коробке была кукла, в огненно-красном платье с воланами), в таких платьях принято танцевать фламенко. Платье для фламенко у Маринэ было, бледно-голубое, а ей хотелось красное. Откуда Кобалия об этом узнал?

Подарки на этом не кончились, Арчил Гурамович извлёк из кармана пиджака (оделся как на свадьбу, выпендрился, тоже ещё мачо!) плоскую коробочку.

– Открой. – Маринэ открыла и ахнула: на красном бархате лежали золотые часики с усыпанным блестящими искорками циферблатом.

– Ой, это мне? С камешками! Горный хрусталь? Фиониты?

– Угадала. Ты, я смотрю, и в камнях разбираешься, и танцуешь, и на рояле играешь... Тебе цены нет! – рассыпался в

комплиментах Кобалия, и Маринэ застеснялась, словно сморозила глупость.

Ничего глупого она не сказала, почему все улыбаются? (Глупость она всё-таки сморозила – камешки оказались бриллиантами.

Маринэ никогда не видела часов с бриллиантами, и с чего бы Кобалии дарить ей такие подарки, он же не родственник). И теперь она поглядывала на сверкающие «фионитами» часики, боясь опоздать на экзамен. Она приехала за полчаса до начала, в коридоре никого не было, двери классной комнаты были закрыты, напротив маялся Отар. Маринэ кивком поздоровалась и приготовилась маяться вместе с ним, но Отар молча показал ей на дверь.

– Рано же ещё, – сказала ему Маринэ. Тогда он молча (не хочет с ней разговаривать? Опять морду набили в секции?) поднёс к её лицу руку с часами. На часах было три пятнадцать.

Гашмагеба (грузинск.: ярость)

– Иди, Маринэ, тебя она впустит, ты же отличница, а меня выгнали... Славка списать дал, а Ирина Львовна углядела... Ну, что застыла? Ступай, сказал! – и подтолкнул её к дверям.

– Так рано же ещё... На моих без двадцати, рано ещё, – повторяла Маринэ, уже поняв, что часы безнадёжно отстали, а она безнадёжно опоздала...

Не тратя времени, Отар по-хозяйски взял её за плечи (правое, сломанное, не сжимал, держал осторожно), подвёл вплотную к дверям и открыл. Маринэ ахнула: группа писала диктант...

– Извините, Ирина Львовна, у меня часы отстали, простите пожалуйста... – бормотала Маринэ, пробираясь к своей парте. Парта оказалась занята: на Маринином месте сидел незнакомый паренёк. Группа тоже была незнакомая. «Да это же другая группа! Та, которая перед нами сдаёт, а мы после них...» – дошло наконец до Маринэ. Сволочь Отар! Шутки шутит с ней. «Да что он себе позволяет!! Да я ему...»

– Метревели, хватит сладко мечтать о мести («Но – как она догадалась?»), выйди и закрой за собой дверь. Позволь группе спокойно написать диктант! – строгим голосом сказала Ирина Львовна. Маринэ кошкой выметнулась за дверь.

– Отари! Шени дэда ватирэ! Сирцхвилия... («Отар, так твою мать... стыдно!»)

– Притормоси, доехала уже, – оборвал её Отар. – Женщина не должна такое говорить мужчине, и чтобы я не слышал больше...

– А я не женщина, мне восемнадцать ещё нет, мне можно! – выкрикнула Марина в лицо Отару. – А ты... если был бы мужчиной, промолчал бы и притворился, что не понимаешь. Эх, ты! С гор вчера спустился...

– Нэ вчэра. Пазавчэра с горы спустылся, и сразу повезло – тебя встрэтыл (совершенно дикий акцент, это он нарочно, Марина не может удержаться и звонко хохочет. Отар присоединяется и оба умирают со смеху, держась за животы... Точнее, за то место, где у человека должен быть живот, но у них с Отаром нет, «Не дал господь... Ха-ха-ха, га-га-га, Маринэ, что ты там держишь, мне можно тоже подержать?» – «Отстань, не лезь, Отар, щекотно же! Сулэло штэро (глупый дурак), мне диафрагму от смеха свело из-за тебя» – «За штэро ответишь! А где ты видела умных дураков? Молчала бы, ahmak, budala (турецк.: глупая)»

– «Ahmak переведи!» – потребовала Марина. – «Глупейшая из глупых – «перевёл» Отар, и взбешенная Маринэ попыталась применить приём, которому её научил «церцето сулэло». У неё получилось, потому что Отар такого просто не ожидал... «Оо! Ай, Маринэ, что делаешь? Ты же мне руку вывернула, мне диктант писать этой рукой, не могла левую вывернуть, дура!» – рассвирепел Отар, схватил Маринэ за руку, чтоб не убежала, и всерьёз собрался отшлёпать её

«за нанесение вреда здоровью», о чём и сообщил: «Сейчас получишь, не вырвешься!»

– «Ай, больно же, сулэли бороти, штери! (Злой тупой дурак)» – забыв обо всём, заорала Маринэ. Отар, крепко держа её одной рукой, другой размахнулся и шлёпнул ещё раз («Чуть без руки не оставила, змея, научил на свою голову...»). Маринэ вырывалась, сопя и отчаянно ругаясь. Отар узнал о себе много интересного, и тут вдруг... распахнулась дверь в класс.

...Дверь стремительно распахнулась, и багровая Ирина Львовна гневно отчеканила: «За! Мол! Ча! Ли!! Оба! Группа из-за вас не может писать зачетный диктант. Все смеются и просят перевести, хотя ясно и без перевода, – прыснула Ирина Львовна. – Отар, что ты с ней делаешь?!» – «Что надо» – лаконично ответил Отар. – «Ну, если надо...» – Ирина Львовна улыбнулась и тихо прикрыла за собой дверь.

Тамаша (груз.: игра)

Парочка перешла на шёпот.

– С ума съехал? Спятил? – зашипела Маринэ. – В следующий раз я тебе не руку, я тебе шею сверну!» И услышала в ответ: «Ну, свернёшь, мне приятно будет, у тебя руки такие нежные. Нази, ламази... (груз.: нежные, красивые). А кто из нас спятил, это как посмотреть. Я в коридоре, спокойно так – стою, а ты диктант с чужой группой писать попёрлась, я слышал, как Ирка на тебя орала».

Маринэ обиженно засопела...

Далее беседа приняла неожиданный оборот: Отар предложил объединить усилия и всем говорить, что экзамен давно начался, а их обоих выгнали. Маринэ подумала и согласилась. Она так глупо попала на удочку, пусть теперь другие попадутся. «Сабавишво тамашеби...» (детские игры) – сладко прошептала Маринэ, и у неё загорелись глаза. Маринэ так любила играть, так ждала каждый год, когда её отправят в Леселидзе... Теперь – поиграет и в Москве.

Игра удалась на славу: Маринэ ещё сердилась на «тупого дурака» Отара, и когда подросла первая жертва – Славик Ильюхин, флейтист, – щёки у неё полыхали двумя маками, что было как нельзя кстати, подумал Отар.

–Вы чего в такую рань пришвартовались, у меня занятия только что закончились, а вас—то каким ветром принесло?

– На часы посмотри!

– Да они у тебя врут!

– Не врут. Наши все диктант пишут, а нас с Маринкой выставили...»

– «Ааа-а, достукались, гамарджопа! А я смотрю, у Маринки щеки красные... Ну, я пошёл, а вы, это, не расстраивайтесь. Ирка добрая, она отозлится и разрешит вам сдать» – утешил «изгнанных из рая» добряк Славка и решительно открыл дверь...

«Здрости, Ирин Львовна, я это, у меня автобус сломался, пешком бежать пришлось. Можно сесть?» – услышали Маринэ с Отаром и переглянулись. И улыбнулись появившемуся через две минуты в дверях красному как свёкла Ильюхину.

– Что, Илюха, уже написал? Ты у нас мастер... И швец, и жнец, и на дуде игрец, – похвалил Ильюхина Отар, и Славка озверел. «Дуду» простить флейтист не мог и кинулся на Отара с кулаками, которые тут же оказались... у Отара в руках.

– Славик, детка, пальчики надо беречь, а то сломаю, как тогда на флейте играть будешь?

Как по маслу

Всё шло как по маслу. Всем приходящим объявляли, что «все диктант пишут, а нас выгнали, Отар у Маринки списывал, ну и меня, за компанию», «Ирка всех выгнала, потому что Маринка написала все варианты и пустила по рядам, а Ирка разозлилась. Теперь в коридоре ждём. Ирка сказала, после всех писать будем, каждый за отдельной партой».

Реакция у всех была одинаковой: сначала усмехались и фальшиво сочувствовали, потом с видом победителя открывали дверь и – «Здрасти, извините, автобус сломался, шнуры развязались, ногу подвернул, водопроводный кран сорвало, по всем комнатам воду собирали...». Потом смотрели неверяще – группа чужая, не наша, ни одного знакомого лица, блин, на фига же я припёрся, идиот... Потом выходили, пристыженные и несчастные. И улыбались: купились, попались на удочку, надо же было так облажаться!

После четвертого «облажавшегося» Отар отвел группу на лестницу и велел всем ждать. – «Ничего, отсюда тоже слышно, Ирка орать будет... на весь коридор, клянусь!» – «А зачем на лестницу?» – «А вот придёт сейчас... кто-нибудь из наших, тогда и узнаешь – зачем».

«Из наших» пришла Ирочка Раевская, «первая скрипка», как прозвали её в группе, и она гордилась – первая скрипка в оркестре одна, а все остальные, сколько ни есть – вто-

рые. Ирочка выслушала откорректированную, отредактированную и дополненную «дезу» про группу, которая «давно пишет диктант», поверила безоговорочно – поскольку Отар стоял у дверей один (все остальные ждали на черной лестнице), причём стоял с несчастным видом и стиснув зубы (чтобы не спугнуть удачу и не засмеяться в самый неподходящий момент).

Раевская милостиво улыбнулась Отару, который гостеприимно распахнул перед ней дверь, и вошла в класс. А Отар метнулся к лестнице...

Коршуном летел над ступеньками, крепко стиснув руку Маринэ, чтобы она не упала на такой скорости. Отар волновался зря: Маринэ перебирала ногами так быстро, словно танцевала фламенко. За ними лавиной неслась вся группа, с гиканьем и топотом убегающего от пожара табуна диких мустангов.

Казнь

В пятнадцать ноль-ноль группа тихо вошла в кабинет и уселась за парты, не поднимая глаз. Ирина Львовна молчала. Наступила тяжелая тишина...

– Я не стану спрашивать, кто режиссёр этого безобразного спектакля. Вам не стыдно? Из-за вас группа писала диктант в нечеловеческих условиях! Та-аак, прекратили смеяться! Это не смешно. Темиров и Метревели, я ведь к вам обращаюсь, может быть, соизволите встать?

Маринэ молча встала, вслед за ней поднялся Отар.

– Вот и прекрасно. Будете стоять весь урок и думать о своём поведении, а остальные будут писать диктант... без Метревели. Улыбаетесь? Смеяться будете, когда поставлю оценки.

Маринэ с Отаром простояли сорок минут, почти весь урок (оба с каменными лицами, иногда переглядывались, иногда улыбались), после чего Ирина Львовна разрешила им сесть. – «Отдохнули? А теперь пишите зачётный диктант, если успеете. У вас пять минут до конца урока».

Они успели. Марина написала оба варианта диктанта (сначала вариант Отара, потом свой) Отар «набацал» две цепочки аккордов (сначала Маринин вариант, потом свой) и нагло, не прячась, подсунул ей тетрадку.

Ирина Львовна видела, но молчала («Так и знала, что эти

двое выкрутятся, зачётный, повышенной сложности диктант Метревели написала за пять минут, оба варианта. Темиров как пулемёт строчит аккорды, тоже два варианта, он ведь у нас гитарист... божией милостью. Торопятся, стараются оба... Хулиганы, житья от вас нет, теперь вздохну свободно... Как мне жаль расставаться с этими двумя, ведь они мои лучшие ученики!»).

Ирина Львовна продлила урок на десять минут, чтобы Марина с Отаром успели закончить, и вывела обоим в дневниках красивые жирные пятёрки. В добрый путь, мои дорогие ученики! В добрый путь...

Часть 15. Музлитература

Отар Темиров

Отар рассказывал о себе шутя и смеялся через слово, но Маринэ слушала его без улыбки, потому что он говорил о несмешном. Например, о том, как гладил себе рубашку.

– А что же твоя мама? – ужасалась Маринэ.

– Да что я, сам рубашку не поглажу? Она «на выход» была, красивая, в чёрно-белую полоску сверху донизу и такой же воротник. И пиджак чёрный, и чёрные брюки. Типа костюм. Отец из-за границы привёз, мать бы ни за что не разрешила «трепать» и гладить не стала бы...

– А другую нельзя было надеть? – «Нельзя. Похвастаться хотел перед всеми, а то смотрят как на...

Отар не договорил. Маринэ взяла его руку в свою и сказала чуть слышно: «Не все. Я – не смотрю». Отар слегка сжал её пальцы.

– Молчала бы... Ты-то уж точно – как на пустое место смотришь. Как на телохрана. Сколько я твоих... мальчиков передубасил, а ты и довольна, больше ничего не надо. Я у тебя как бейсбольная бита, – выдал Отар, глядя на смущенную Маринэ с видом победителя. («Ишь, глаза опустила, прямо ангел. Этот ангел бить умеет так, что сразу в рай попадешь,

сам его учил, то есть её. А посмотришь – девочка-мимоза. Эх!»

Отсмеявшись, продолжил.

– Ну, поставил я утюг на разогрев, рубашку на столе разложил, там ярлык: «нейлон 100%». На утюге нейлон искал, не нашёл, зато нашёл «нылон». Представляешь, нылон! Я над этим утюгом как верблюд смеялся, аж пена изо рта, стою и ржу... Потом к рубашке приложил, и сразу зашипело и дыра прожглась: он на «хлопке» стоял, зараза, стоял. Как мать простыни гладила, так и стоял.

– Ой, и как же? Что тебе за это было?

– Да ничего мне не было. Мать с работы пришла – палёным воняет, рубашка на стуле висит. Ну, то что от неё осталось. Смотрит на меня как зверь, глаза бешеные, утюг схватила и на меня пошла. Отец не дал. Ты кулак-то не кусай, а то вдруг откусишь? Он остыл уже, утюг-то. Я бы увернулся, я же не на фоно играю (фоно – фортепиано, на жаргоне музыкантов). Она бы не ударила, просто замахнулась, попугать хотела. Она рубашку эту жалела очень, плакала. Потом предки ругались, а я в секцию поехал... Рубашку прожёт капитально, не заштопаешь, ха-ха... Жалко. Тебе хотел показать».

Два сапога пара

Другой «курьёз-конфуз» произошёл с Отаром, когда ему на тренировке двинули в челюсть. Двинули крепко, Отару после секции на сольфеджио ехать, там петь надо, рот открывать, а кому это интересно? Пока в автобусе ехал, вроде ничего было, рот закрыт потому что, а в классе – беда-бе-довская, болит как зуб.

Скула пластырем залеплена, сам какой-то не такой, приставать с вопросами не стали: подрался с кем-то, сейчас Ирка его взгреет, вздёрнет и за ушко на солнышко, типа сушиться повесит. Повеселимся!

«Вздёрнуть» Отара не позволила Маринэ, которой он прошипел свистящим шепотом, не раскрывая рта: «Марин, выручай, мне челюшш, кажаша, шломали. Ирка выживет, мне рот не открыть и чемпература, кажеша... А можеч, и неч никакой чемпературы, прошто жнобит».

«Ирка» вызвала («как в воду глядел, больше вызвать некого, что ли?»):

– Темиров, что сегодня такой кислый? Как лимон. С тобой кофе можно пить. Спой нам пожалуйста, что я сейчас играла (донельзя витиеватая длинная мелодия, не лень было сочинять). Или ты не слушал? Тогда специально для тебя повторю, – разорвалась Ирка, потому что Отар не вставал, продолжал сидеть и смотрел на неё устало, без досады даже,

как смотрят на репей, который – вот прицепился же, теперь колючки отдирать замучаешься...

– Темиров, я понимаю, что я для тебя как репей, но всё-таки придётся встать. Тааак... Смех прекратили. Метревели, что тебе? (Маринэ сидела с поднятой рукой).

Маринэ встала и всерьёз предложила спеть вместо Отара: «А давайте, я спою? Отар не в форме сегодня, упал нечаянно и об лестницу ударился лицом (о секции бокса и о другой, в которой Отар занимался вместе с находчивым педагогом по классу гитары, в группе не знал никто, кроме Маринэ. Как и о её танцах в «Легендах фламенко»). Он рот открыть не может, вот и молчит, а так бы он спел...»

Хохот стоял гомерический. Ирина Львовна смутилась, покраснела и отпустила «ударившегося лицом об лестницу» с урока на все четыре стороны. Отар кивнул благодарно и вышел из класса тяжелой походкой. Что с ним случилось, мальчик сам не свой. Маринэ, конечно, знает, но она не скажет...

С того дня она смотрела на эту «пару» другими глазами. Двое из ларца, одинаковых с лица. Два сапога пара... И дружить умеют, как никто.

Открою тебе, читатель, чужую тайну. Это секрет. Ты ведь никому не расскажешь? «Двое из ларца» никогда не считали себя парой, они просто любили друг друга – искренне, окончательно и бесповоротно, сами об этом не зная.

Музлитература

Самым нелюбимый предмет в музыкальной школе – музыкальная литература (общепринятое название: музлитература, в быту: литра, муза, музон, музак), а самый нелюбимый преподаватель – учительница музлитературы Вера Вячеславовна Коринская, красивая женщина тридцати двух лет, которая вела свои уроки настолько сухо и академично, что её переставали слушать уже через десять минут, больше не выдерживали.

А зря! Вера Вячеславовна рассказывала удивительные вещи – историю музыки, биографии композиторов, этапы их творческого становления и перипетии жизненного пути. Маринэ внимательно слушала, но через пресловутые десять минут слушать уже не могла и сидела, сложив на коленях руки и витая мыслями где-то очень далеко. Вспоминала бабушку Этери из Леселидзе, и тётю Маквалу с её близнецами.

Далекое лето

Восьмилетние Анзор и Анвар были отъявленными хулиганами и кидались разгрызенной на кусочки недозрелой хурмой. Зелёная мякоть нещадно связывала рот и сводила губы, и на языке словно непрожёванная вата (хотя кто её жевал?), зато на Маринином платье оставались тёмно-рыжие йодистые следы, которые не получалось отстирать. Бабушка Этери сердилась на двенадцатилетнюю Маринэ: «Они маленькие, глупые, а ты уже большая. Видишь – на дереве сидят, так обойди подальше. Горе ты моё, что ж теперь с платьем делать, ах, что делать, не знаю!»

Напрасно Маринэ оправдывалась и говорила, что не заметила обидчиков в густой листве (хитрые близнецы сидели тихо и ждали, когда Маринэ выйдет из дома, хурма росла у самого крыльца, и обойти её было технически невыполнимо. Маринэ наливала в таз воды, снимала платье и стирала его три раза подряд... Но на нём всё равно оставались следы.

Карательные меры к близнецам не применялись (маленькие ещё, что с них взять), но если Этери замечала торчащую из зеленой раскидистой кроны смуглую маленькую руку или босую ногу в кожаной сандалиии, то резко дёргала за неё и назидательно говорила сидящему под деревом Анвару (или Анзору, их не различить): «Больно? Вот и деревцу больно. Что ж ты плодам не даёшь созреть, не жалко тебе их? Дерев-

це их так долго растит, соком поит, на солнышке греет, чтобы к новому году угощение в доме было. А ты что делаешь?! Вот матери скажу, забудешь дорогу в мой сад» (Угощение к новому году – вяленая хурма с грецкими орехами, традиционное новогоднее блюдо).

И всё продолжалось по-прежнему. Близнецы кидались хурмой, Маринэ не могла ответить тем же (Этери запретила, и обзывать запретила тоже) и молча шла стирать платье, в двадцатый раз. Потом сидела под бабушкиной чинарой, в одних трусиках, и терпеливо ждала, пока оно высохнет: другого платья бабушка не давала, справедливо рассудив, что «так хоть одно испорчено, а так – все в пятнах будут»

Далекое лето. Продолжение

«Зачем тебе платье, близнецы голыми бегают, шорты наденут – и ходят весь день, а тебе платье подавай... Оно в пятнах всё, от хурмы, люди скажут, у Этери внучка неряха». Но Маринэ мотала головой и торопливо натягивала непросохшее платье, боясь что бабушка снимет его с веревки и больше не отдаст, с неё станется.

В двенадцать лет бегать по посёлку в шортах – выходило за пределы Марининога понятия о приличиях. Другое дело – море. На море можно не стесняться, купайся хоть голышом, никто тебе ничего не скажет. И во дворе можно ходить без платья, это даже полезно, так бабушка говорит. И гимнастику Маринэ делает налегке, предварительно вытащив из колодца ведро воды и поставив его на солнышко, а бабушка Этери шутит: «Зачем воду на солнце выставила, ты кипятком обливаться собираешься?».

Маринэ хитро улыбается: на солнце ведро нагревается, и вода уже не кажется колодезно-ледяной, а кажется вполне переносимой. Нормальной. Маринэ привыкла, и платье ей ни к чему: как водой обливаться в платье?)

В огороде она работает в шортах и широкополой соломенной шляпе, оставленной бабушке кем-то из жильцов (бабушка сдаёт на лето две комнаты с общей верандой, на две семьи, берёт с постояльцев дорого, объясняя это тем, что – должны

же быть деньги в доме. Впрочем, бабушкины жильцы всем довольны, приезжают каждый год).

Шляпа Маринэ нравится, она нарядная и очень ей идёт, так сказали Анвар и Анзор. Она защищает от солнца лицо, и закрывает плечи, и приятно щекотит соломенными кончиками голую спину... Иначе бы Маринэ испеклась как баклажан: ведь солнце палит нещадно. Бабушка Этери говорит, что тело должно дышать, в Москве девочке так ходить неприлично, а здесь можно: солнышко у них жаркое, море тёплое... Леселидзе – рай на земле!

Послеполуденный отдых

После прополки огорода ноги не хотят идти, заплетаются, Маринэ усаживается на землю в тени огромной чинары и смотрит, как бабушка Этери варит из кукурузной муки мамалыгу.

– Бэбо, сакиро гарцвэули дацмарэба?

– Чэми дамхмарэ мовида! Даигалэ?

– Цотати.

– Даисвенэ, Маринэ...

(груз.: «Бабушка, тебе помочь?»)

«Помощница моя пришла!»

«Ты не устала?»

«Чуть-чуть»

«Отдохни, Маринэ...»)

Этери снимает с себя завязанную узлом на поясе тонкую шаль и бережно укрывает девочку. Маринэ забирается под шаль с головой и, сладко вздохнув, мгновенно проваливается в мягкий, ласковый сон – на тёплой земле, прогретой горячим абхазским солнцем, в прохладной тени бабушкиной чинары. – Чтобы через час вскочить, ёжась от сквозящего в тени ветерка, и, завернувшись в бабушкину шаль, насладиться горячим солнечным теплом, как умеют наслаждаться только южане – принимая его как неперемнное условие существования.

Бабушка стягивает с внучки шаль: зачем она на такой жаре, если замёрзла – на солнышке согреешься. Мамалыга уже сварена и остывает. Без неё – какой обед? Дома Маринэ обедает и ужинает без хлеба, дома вечная диета и вечный творог, зато у бабушки она объедается испеченным в тандыре вкуснейшим лавашем и сытными слоёными хачапури с лужицей масла в восхитительной сырной серёдке. Хачапури бабушка печёт сама и угощает всех – Маринэ, близнецов, тётю Маквалу и своих жильцов. И пресноватой мамалыгой, которую в посёлке варят все – она идёт вместо хлеба. Маринэ ест мамалыгу просто так, а суп съедает как привыкла, без хлеба.

Дела и заботы

Маринэ приносит с кухни широкий нож и старательно режет мамалыгу, раскладывая на деревянной столешнице аккуратные жёлтые ломти. Она у бабушки первая помощница, бабушка не успевает сказать, а Маринэ уже делает... Всё успевает – полить чесночные грядки, выполоть в огороде сорную траву, нарезать на ломти душистую мамалыгу, поиграть с Анваром и Анзором, когда они приходят извиняться и клянутся, что больше никогда не будут кидаться хурмой (но потом всё равно кидаются).

Это ведь из-за них бабушка не даёт ей платье. – «На улице, конечно, надевай, а во дворе даже не думай, два платья уже испорчены, в чём ты домой поедешь?» Проклятые пятна не отстирываются, близнецы продолжают хулиганить, но Маринэ с бабушкой их перехитрили: платья заперты в шкафу, кидайтесь сколько хотите!

Маринэ не стесняется близнецов, она вообще никого не стесняется, даже когда ходит с девочками на море. У всех девочек купальники, с бантиками и ленточками, красивые. У Маринэ купальника нет, папа обещал купить в следующем году. Ей немного обидно, но она никому об этом не скажет. Маринэ гордая.

– Подумаешь... Мне и не надо! – беззаботно говорит она подружкам. – Папа сказал, мне нечего стесняться.

Маринэ слушалась отца беспрекословно, сколько себя помнила. И верила ему во всё: если папа так сказал, значит, так оно и есть. Никто ведь не знает, что ей уже двенадцать. Отец прав: ей и одиннадцать не дашь. Мешочек с косточками, как сказали близнецы (и Маринэ на них обиделась).

Наконец все дела переделаны: грядки выполоты и политы нагретой на солнце водой из дождевой бочки, упавшая с дерева алыча вся до одной собрана и высыпана в корзину, мамалыга сварена, остужена, нарезана аккуратными ломтями, на обед бабушка подаст её к столу... Да, ещё надо подмести двор! Маринэ берёт метлу, поливает её из лейки, чтобы не пылила, и старательно метёт.

Что сегодня на обед?

«Ах, ты, умница моя, помощница моя золотая, что бы я без тебя делала!» – бабушка звонко целует Маринэ в щеку, потом в другую, и разрешает ей уйти. – Иди погуляй, ты сегодня столько дел переделала. Только про обед не забудь! Не придёшь – будешь обедать в ужин, так и знай».

Маринэ знает. Она бы с удовольствием пообедала прямо сейчас, но ещё варится, будет только через час. Интересно, что у них сегодня на обед? – «Не забуду! Приду!» – обещает она бабушке и бежит в дом за платьем. То, с пятнами, она не наденет, стыдно в таком идти. Наденет прошлогоднее, белое с красными маками. Маки выгорели на солнце и стали розовыми, а платье стало коротким и немного мало. Значит, за лето Маринэ выросла, вот здорово! Бабушка говорит, чтобы быстрее расти, надо больше есть. Маринэ влезает в платье и изо всех сил тянет вниз подол. Ничего, сойдёт, если не наклоняться, трусиков из-под платья не видно. У Маринэ хорошая осанка, она держится прямо и помнит о том, что наклоняться ей нельзя. И об обеде помнит тоже.

Обед у бабушки всегда такой вкусный, с маминым раз-ве можно сравнить? Регина тоже умеет вкусно готовить, но только то, что любит папа. Для Маринэ она готовит диетические блюда, потому что ей нельзя жирного. Не очень вкусно, но ничего, есть можно. Вот знала бы она, что у них с ба-

бушкой сегодня на обед шурпа – пышущая ароматом, покрытая лаково-блестящей плёнкой бараньего жира, язык проглотишь!

Бабушкина шурпа совсем бы не повредила Маринэ, но девочки, как всегда, в это время идут на море. Наверное, они уже пообедали и Маринэ ждать не будут, а идти одной ей не хочется. На море интересней, чем во дворе, можно плавать далеко и нырять сколько хочешь. Кто же откажется – от моря? Значит, придётся ждать до ужина. Маринэ набирает полные карманы жёлтой душистой алычи и, прихватив остатки вчерашнего лаваша, громко хлопает калиткой и исчезает из дома до вечера.

Хорошая девочка

В классе неожиданно загомонили, задвигали стульями, с громкими хлопками закрывали учебники. Конец урока, срок пять минут прошли. А она и не заметила!

Вера Вячеславовна (которую они прозвали Ведьмой Вячеславной) смотрит на Маринэ с тихим умилением: другие весь урок ёрзают и шепчутся, а эта сидит как вкопанная: не наклонится, не шелохнется, смотрит в одну точку и слушает очень внимательно. Вера Вячеславовна никогда не видела, чтобы так – слушали. Хорошая девочка.

Часть 16. Музлитература.

Продолжение

Песни Леля

Однажды им повезло: Ведьма Вячеславовна пришла в класс с пластинкой под мышкой и объявила, что сегодняшним уроком станет прослушивание «Ленинградской симфонии №7» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Достала из шкафа серый чемоданчик, который оказался проигрывателем, любовно провела рукой по крышке, поставила пластинку. Победно взглянула на класс («Ведьма—то наша отколола номер: рухлядь такую отыскала и радуется») и осторожно опустила на пластинку лапку с иглой.

Игла коснулась пластинки, и... комната наполнилась дребезжащим шипением, сквозь которое умудрялась прорываться музыка (прорывалась с боями, по меткому определению Сашки Лашина). Знаменитую «Ленинградскую» в исполнении проигрывателя с его шумовым (чумовым, как сказал тот же Лашин) оформлением слушать было, мягко говоря, тяжело. «Ленинградская» напрочь выносила мозг. По классу пронёсся шепоток: «Детей не пожалела, ведьма» — «Лашин, хочешь что-то сказать? Уже не хочешь? Тогда сиди

и помалкивай».

В довершение всего, на пластинке имелась трещина, и когда по ней проходила игла, раздавалось характерное «пст-кэк!», и можно было слушать дальше. Ведьма Вячеславовна так и сказала: «Пластинка, конечно, старенькая, но слушать можно, а трещина... постарайтесь о ней забыть и слушать симфонию. Симфония в учебной программе, в Большой зал Консерватории сходите как-нибудь сами, а сейчас – послушайте на пластинке. Я отлучусь до конца урока, а вы слушайте. Надеюсь, вам не надо напоминать, что учительская напротив, и там всё слышно?»

Ведьма Вячеславовна ушла, а группа осталась, не веря своему счастью. Закрыли плотнее дверь и начали... Славка Ильюхин очень похоже изображал «пст-кэк!», успевая сделать это раньше проигрывателя, и все давились смехом, прижимая к губам пальцы и делая страшные глаза.

«Стоп машина!» – Отар выключил проигрыватель и объявил заговорщическим шепотом: «Игру придумал! Называется «Песни Леля». Действующие лица и исполнители: Лель, Берендей, Снегурочка, Мизгирь-богатырь, старик и старуха – это будет шесть, и девицы-красавицы. Восемь человек, как раз на всех... Выбираем роли и играем. Славик, ты у нас будешь Лель, флейту доставай и поехали!

Группа молчала. Игра и выключенный проигрыватель казались немислимым, невообразимым святотатством, (да так оно и было), но исполнение «Ленинградской симфонии» под

«пст-кэк» тоже ведь – святотатство. Юношеский оптимизм и здоровый пофигизм в конце концов взяли верх, роли распределили, игру «сыграли». Под Ленинградскую симфонию, которую включили-таки в финале....

«Артисты» понимали недозволенность происходящего, но постепенно вошли в роль и сыграли на совесть. Об учительской, в которой «всё слышно», было забыто (Ведьма Вячеславна врёт, иначе бы давно заявила, прилетела в ступе! А-ха-ха! О-хо-хо! Ии-и-хи-хи...). Маринэ с Отаром блестяще исполнили роли старика и старухи, Лель (Славик Ильяхин) играл на флейте, снегурка Ирочка Раевская тихо млела от музыки, толстый Мизгирь (Саша Лашин) рвал на себе волосы от ревности, девицы-красавицы (пианистка и скрипачка) влезли на рояль и сидели на нём, кокетливо обмахиваясь веерами из тетрадных листочков.

Сценарий рождался спонтанно: душеньки—подруженьки нахваливали Снегурке Мизгирия – «Весь из себя, здоровый как шкаф, не сдвинешь, и тачка есть, и недвижимость в Хорватии, о чём тут думать, хватай обеими руками, пока другие не взяли». Снегурка куксилась и старательно поглядывала на Леля...

Но у старухи (Маринэ) не поглядишь: «Зря в ту сторону смотришь, – маминым голосом говорила «дочке» Маринэ. – «Выйдешь как миленькая за Мизгирия, и не вздыхай! Вздыхать она, видите ли, научилась... Слов не понимаешь, ремень поймёшь. Отец, всыпь ей как следует, чтоб с Лелем

этим не хороводилась!» Последние слова Маринэ потонули в дружном хохоте и аплодисментах.

Старик-Отар со словами «за этим дело не станет, сейчас получит» расстёгивал воображаемый ремень, Ирочка-Снегурочка пискнула «я больше не буду» и полезла под рояль... Финалом стала сцена свадьбы. Мизгирь светился от радости, Снегурочка таяла на глазах и повторяла для тех, кто не понимал: «Таю, таю, таю... Лучше в костёр, чем жить с мясокомбинатом!»

«Гости» танцевали на рояле, старательно топая ногами. Места хватило только для старухи-Маринэ и подружек невесты, и они выдавали совсем уж невозможное. Кто-то под шумок поставил пластинку, и под бесконечно повторяющееся «пст-кэк» девчонки изобразили русскую «барыню». Под Ленинградскую симфонию.

Маринэ с горящими глазами отбивала каблуками ритм на рояльной крышке (многочасовые занятия фламенко не пропали даром), Сашка Лашин смотрел на неё во все глаза («Маринка просто красавица, и глаза у неё светятся, и волосы как у русалки! И как это я раньше не замечал, что она такая, – грустно думал Мизгирь.– К ней теперь не подойдёшь, Отар разве позволит?»)

«Финита ла комедиа, – сказала Маринэ (Мизгирь вздрогнул от неожиданности, поскольку думал о том же, но в другом контексте). – Пэр фаворе Дима Шостакович, дружно садимся за парты и слушаем Димон—музон. Сейчас Ведьма

Вячеславна на помеле нагрянет, ступой об рояль шарахнет – и получают все!»

Последние слова Маринэ прозвучали в мертвой тишине: она стояла (на рояле) спиной к двери и не видела Веру Вячеславовну, застывшую в дверном проёме и окаменевшую от увиденного...

Последняя шалость

На учительском совете Ведьма потребовала исключить из школы всю группу в полном составе. Ей возразили: «Ведь не все же зачинщики!»

– Тогда Метревели и Темирова, этих двоих обязательно, – потребовала Вера Вячеславовна.

Другие педагоги осведомились, что же они сделали такого. И Вера Вячеславовна, запинаясь и путаясь в словах, рассказала – что они сделали. Реакция педагогов была непредвиденной: «Стало быть, вы детей оставили одних до конца урока? И вы считаете возможным так проводить занятия?»

– Так они же... Они же... – захлебнулась гневом незадачливая учительница. – Они музыку слушали, Ленинградскую симфонию... Вы бы видели Метревели, как она танцевала! Тогда не говорили бы так...

– А что, хорошо танцевала?

– Хорошо (Вера Вячеславовна была объективна). Но – на рояле. Не вижу ничего смешного, взрослые люди, а смеетесь как дети.

– Ой, насмешили, Верочка... Роялю в обед сто лет, и не «Грюндиг», нашенский, «Заря», звук дубовый. Тот ещё рояль, музыкальные дрова. На нём только чечётку бить.

– Но они же над святым издевались!

– Ой, да ладно вам, Верочка! С каких пор берендеи стали

святыми? Они язычники, это ещё до христианства было. Вы хоть историю читали, кроме музыкальной?

Этого Вера Вячеславовна вынести не смогла и выбежала из учительской с багровым от гнева лицом. Учительский совет долго хохотал, вытирая слёзы и качая головами. Кто-то процитировал Ильфа и Петрова: «Графиня изменившимся лицом бежала пруду».

На следующем занятии Вера Вячеславовна поставила зачинщиков перед классом и объявила им, что это была их последняя шалость, и пусть они скажут спасибо за то, что их оставили в школе, хотя стоял вопрос об исключении. Маринэ и Отару по правилам полагалось покраснеть и попросить прощения. Но они не соблюдали правил. Стояли как ни в чем не бывало и смотрели на класс. А класс смотрел на них с восторгом.

Вера Вячеславовна увидела – этот восторг в глазах. И сказала со вздохом: «Садитесь». Маринэ состроила гримаску, пожала плечами (ох, этот её жест! Погибель чья-то растёт») и села на своё место. Отар невозмутимо опустился на стул и проговорил извинительным голосом: «Мы больше не будем, Вера Вячеславовна! А Маринка полироль из дома притащила и полчаса рояль оттирала, мы с ней вместе пораньше пришли и отёрли, посмотрите – какой стал!»

Вера Вячеславовна против воли посмотрела на рояль – он сиял и сверкал, как новый. И улыбнулась: «Прощаю. Забыла. Продолжим урок...»

«Князь Игорь»

На «Князя Игоря» Маринэ пригласил Отар, и родители разрешили ей пойти. Да и как они могли не разрешить, если опера входила в школьную программу, а билеты были в Большой театр (билеты правдами и неправдами раздобыла мать Отара и вручила сыну, со словами: «Пригласи свою Маринэ, все уши прожужжал о ней, вот и идите вдвоём»).

«Пойдёшь, конечно, пойдёшь, – было сказано Маринэ, – только оденься прилично, у тебя же есть платье с люрексом, будешь в нём сверкать, на князя никто и не взглянет, на тебя смотреть будут!». Пропустив слова отца мимо ушей, Маринэ перебрала свой гардероб и остановилась на брюках брусничного цвета (клёш от бедра) и белом пушистом свитере из козьего пуха (в нём Маринэ выглядит «как надо», пуховый свитер полнит).

В день спектакля у них было сольфеджио и музлитература, и они бы успели, но соврали Ведьме Вячеславовне, что не успеют приготовить уроки на завтра. Узнав, куда они собираются, Вера Вячеславовна пришла в восторг, сказала, что «Князь Игорь» в Большом заменит десять занятий по музлитературе, и отпустила обоих с урока. Отар с Маринэ дружно поблагодарили Ведьму Вячеславовну и ушли «на свободу с чистой совестью».

Спектакль начинался в семь вечера, Отар с удовольствием

пропустил тренировку, а Маринэ – без удовольствия – не пошла на фламенко, в чём откровенно призналась Отару: «Тебе хорошо, пропустил и ладно, а меня Арчил в воскресенье в спортзале до полусмерти загонит, потом танцевать заставит, а сам сядет и будет смотреть. Кабанюга! Он и так с меня не слезает, в воскресенье и подавно не слезет».

Отар посмотрел на Маринэ с интересом и согнулся пополам в приступе неудержимого смеха. Отсмеявшись, взял её за плечи и сказал строгим голосом: «Маринэ. Если ещё раз такое услышу... Я не знаю, что с тобой сделаю!»

«А что я такого сказала?» – возмутилась Маринэ. – «Вот если ты даже не знаешь, что сказала, так ты лучше промолчи» – был «подробный» ответ.

Спектакль начинался в семь, встретиться договорились в пять – погуляют по московским улочкам-шкатулочкам и всласть наговорятся. За полчаса до выхода Маринэ пришло в голову выгладить брюки, которые слегка помялись, пока висели в шкафу.

«Мам, где у нас утюг, мне брюки погладить...» – «Да они глаженные. Что тебе неймётся? Если нечем заняться, зарядку сделай лишний раз, в коридоре кольца висят, ты к ним когда последний раз подходила?» – «Ну, мам!» – «Да на, возьми, только смотри, брюки не прожги, плакать ведь будешь...»

Мать как в воду глядела. Маринэ брызнула на утюг водой (шипит!), поднесла к брюкам, и тут зазвонил телефон. «Отар!». Поставив утюг на подставку, Маринэ метнулась к

телефону и наступила на шнур от утюга. Шнур натянулся, утюг свалился с подставки, Маринэ ахнула и ловко подхватила его у самого пола, не думая о том, что делает.

Линолеум итальянский, настелили два месяца назад, от горячего расплавится. Будет ей тогда «Князь Игорь»... Маринэ машинально подставила ладони и поймала утюг, но перехватить его за ручку и поставить на место не смогла: ладони нестерпимо обожгло, Маринэ охнула, утюг «долетел до цели», запахло чем-то гадким...

Маринэ стояла, выставив перед собой раскрытые ладони, словно держала что-то невидимое. Это невидимое было обжигающе горячим и прожигало ладони насквозь, его хотелось поскорее бросить, но Маринэ не знала, как... Как?! Она опустила руки и стояла, чувствуя, как в голове разливается жгучая волна боли. Как странно, обожжены ладони, а болит почему-то голова. Сейчас мать прибежит, добавит.

На запах прибежала из гостиной мать и, схватившись руками за голову, ахнула: «Да что ж ты делаешь, дрянь ты эдакая, полы только постелили, сколько денег заплатили...» Мать с размаху залепила Маринэ пощечину, потом ещё одну. Маринэ стояла с опущенными руками и молчала, вместо того чтобы просить прощения. Возмутившись таким поведением, Регина схватила её за волосы, Маринэ дёрнулась и выговорила сквозь стиснутые зубы: «Нн...нне ннадо!» Регина наконец увидела её ладони и повторила громким шепотом: «Ты... ты что с собой сделала, дрянь такая? Волдыри же бу-

дут!»

Маринэ молчала, опутив голову.

«Да чёт с ним, с линолеумом, ты на руки свои посмотри! Кто ж тебя надоумил... утюг ловить! И в кого ты такая, у нас в роду таких не было! Что застыла? Марш в ванную, руки под холодную воду, потом соды питьевой на ладони насыплем, и ничего не будет, и волдырей не будет, всё пройдёт... Мариночка, да как же ты...»

Маринэ молча кусала губы. Глаза у неё расширились от боли и смотрели сквозь Регину – с немым ужасом. Мать обхватила её за плечи, прижала к себе, запричитала по-бабьи: «Да что ж это такое делается, как же ты теперь на рояле играть будешь? Да будь он проклят, линолеум этот, если ты из-за него... Из-за него? Мариночка, деточка, что же ты надделала...» Маринэ молча вырвалась из материнских рук и метнулась в ванную. И когда поняла, что не может отвернуть кран с вожделенной холодной водой, наконец заплакала, подетски жалобно, но не смогла вытереть кулаками глаза: руки горели огнём, и о том, чтобы сжать их в кулаки, можно было не думать.

– Мама, я кран не могу отвернуть!! Ма-аааа!!

– Mano kvaila mergaite, koks skausmas...

– Nieko blogo, mamyte...

– Kaip gi tu...

– As moku kenteti, tu gi zinai

(Литовск.:

«Девочка моя глупая, как же тебе больно...»

«Ничего страшного, мамочка»

«Как же ты...»

«Я умею терпеть, ты же знаешь»)

Метод был идеально прост: терпя физическую или душевную боль, Маринэ подбирала трудные рифмы, считала по-французски от ста до одного, или выдумывала что-нибудь хорошее, которое никогда не сбудется, но она всё равно представляла, занимая голову «делом», чтобы не думать о боли. Это всегда помогало, поможет и сейчас. Маринэ стояла в ванной, слизывая со щек слёзы, и представляла, как они с Отаром приехали к бабушке Этери, впереди у них длинное лето, она наберется смелости и скажет ему, что не может без него жить. Не будет без него жить!

Маринэ думала о том, как она ему это скажет. Может, не говорить, может, Отар сам догадается? В голове крутились обрывки строк и складывались в стихи. Боль отступала, отходила на второй план, и на её обжигающем фоне вспыхивали строки, в которых сгорала её душа.

Ещё не кончилось лето, и ты – навсегда со мной.

Бегу я к тебе навстречу, как льдом обжигаясь росой.

Висит над горой солнце, не скоро оно зайдёт,

Не скоро моё счастье в безлунную ночь уйдёт.

Поют нам с тобой птицы о птичьей своей любви,

И сердце стучит близко, и губы близки твои...

В саду алычи брызги и деревце миндаля,

Зелёной хурмы клипсы в зелёной листве висят.
Хурмы не дождусь, знаю, её без меня съедят:
Каникулы, словно лето, продлить ни на день нельзя.
Не стану я лить слёзы, я встречу с тобой опять,
И мы – убежим в небо! Но жаль целый год мне ждать.
Со мною ты несерьёзен – ведь мне лишь пятнадцать лет,
А я... Я люблю тебя очень (ты знаешь об этом, нет?)
Люблю я тебя слушать, люблю на тебя смотреть,
И любят мои уши от взглядов твоих гореть...
Родителей нет строгих, в далёкой Москве они,
Но с девочкой—недотрогой ты вежливо временишь
И ждать обещаешь твёрдо, когда она подрастёт.
Ни взгляды мои, ни косы – ничто тебя не берёт!
Глаза опускаю скромно (невежливо – так смотреть).
Ты рук своих не нарочно не снял с моих голых плеч.
Ничем не обидишь – знаю. Мне только пятнадцать лет.
Девчонкой меня считаешь (а я себя – вовсе нет).
Смеешься и вытираешь со щёк моих жёлтый сок.
(Я мушмулу обожаю и ем её так – захлёб).
Ещё не грохочет небо, в Абхазии нет войны,
Сухуми стоит древний – как гордость своей страны.
Ещё не свистят пули, снаряды не рвут тишину.
И счастьем, как мушмулою, я радостно захлебнусь...
В глазах твоих обещаешь. В моих – лишь мольба и грусть
Не сбудется наше счастье.
Не сбудется.

Ну и пусть.

Часть 17. Дон Микеле

Телефонный звонок

Ладони горели нестерпимо, но от холодной воды боль слабела и её можно было терпеть «без звукового сопровождения». Телефон не умолкал. Мать не снимала трубку, за что Маринэ была ей благодарна. «Пусть звонит, у неё есть полчаса, за полчаса боль хоть немного утихнет...».

Через полчаса стояния у раковины руки занемели от холода и почти не чувствовались. Зато не болели! Маринэ вынула их из-под воды – и в ладони яростно вгрызлась нестерпимая боль. О «Князе Игоре» она больше не думала. Торопливо подставила ладони под ледяную струю и облегчённо вздохнула.

В ванной она простояла два часа. Ноги устали и одеревенели, можно было сесть на низенькую скамеечку, но тогда до струи не дотянешься, а в тазу (мать налила полный таз холодной воды, набросала в неё льда из морозилки и поставила на пол) держать руки было бесполезно – слёзы лились от боли, и только под струёй можно было терпеть, «почти не больно, только самую капельку». Маринэ терпела стоя (стоически, скаламбурил бы отец, он всегда над ней подшучивал, а Маринэ злилась и забывала о том, что нужно плакать). Прине-

сти с кухни табуретку она не могла, а мать не догадалась, а просить Маринэ не хотела, никогда ничего у неё не просила, и сейчас не будет. Постоит, ничего с ней не сделается.

Чтобы не думать о боли, нужно думать о чём-то другом. Например, о том, что Отар её так и не дождётся и, прождав два часа, сдаст билеты в кассу (вот повезёт кому-то!). Маринэ никогда не расскажет ему про уют. А Отар решит, что она не хочет с ним идти...

– Mamyte, eik prie telefono, pagaliau, pasakyk jam! Nieko jam nesakyk! Pasakyk... kad as negaliu paimti ragelio"

(Литовск.: «Мамочка, подойди наконец к телефону, скажи ему... Ничего ему не говори. Скажи... что я не могу взять трубку»)

«Здравствуй, Отар... Мариночка? Дома. Нет, не позову... Не будет разговаривать. И в театр не пойдёт. Может, ты пригласишь другую девочку из вашей группы? У Марины есть телефоны, если хочешь, я посмотрю. Не хочешь? ...Нет, мы не против, мы ей не запрещаем, она сама не хочет идти. Нет, трубку передать не могу. Она сейчас в ванной. Нет, ничего не случилось. О чём ты говоришь, какое беспокойство... До свидания»

Всё ещё больно

Через два часа Маринэ вышла из ванны в слезах и с горящими ладонями. – «Больно? Сейчас, mano mergaite (моя девочка), сейчас...». Мать щедро сыпала на мокрые Маринины ладони питьевую соду (народное средство от ожогов), стараясь, чтобы её налипло побольше. Ладони покрылись белой пушистой корочкой и как по волшебству перестали гореть: сода творит чудеса – она снимает боль, и после неё не остаётся волдырей даже при сильных ожогах. (Читателю стоит принять это на вооружение, но падающие утюги ловить всё же не стоит, пусть летят куда им надо).

– Всё ещё больно? Не может быть, у тебя же все руки в соде, и два часа сидела в ванной («Стояла, мама. Ты мне даже табуретку не дала») Не может быть! Не должно уже гореть.

– Уже не горит... почти, – честно ответила Маринэ.

– Тогда о чём ты плачешь? Линолеум новый настелем, в подсобке кусок остался, сделаем заплатку, незаметно будет. Что ж теперь поделаешь. Переживём. И не плачь, всё у тебя заживёт, всё пройдёт. Отец Кобалии позвонит, в спортзале заниматься не будешь пока... А может, перчатки наденешь, и сможешь? Или тебе билеты жалко? Не пропадут, Отар сходит с кем-нибудь.

– Он не пойдёт, – всхлипнула Маринэ. – Билеты в кассу сдаст. Мы вместе хотели, на «Князя Игоря»... Я так радова-

лась, а теперь... Теперь ничего уже не бу-ууу-дет...

– Марина! Перестань наконец плакать! Купим мы билеты эти треклятые. Достанем. На тот же спектакль. В тот же театр. С Отари пойдёшь, обещаю. Только не плачь.

– Tiesa? Tai tiesa? (лит.: «Правда? Это так?»)– улыбнулась Маринэ сквозь слёзы. Ведь слёзы были именно об этом...

Одилия из «Лебедино»

Мать сдержала слово и через месяц торжественно вручила дочери билеты в Большой. И хотя Маринэ с Отаром виделись каждую неделю (на сольфеджио и музлитературе), при встрече они едва узнали друг друга!

Если говорить точно, Маринэ узнала Отара сразу, хотя была удивлена – таким она его ещё не видела: в нарядном костюме с иголочки (том самом, с чёрно-белой рубашкой, которая так подходила к его чёрным блестящим волосам). Гриву отрастил, и причёска стильная, просто глаз не отвести! Ни дать ни взять – Дон Микеле, Майкл Корлеоне из «Крестного отца». Но он же говорил, что рубашку сжёт, вот эту самую, от костюма. Тогда откуда же... Не могут же у него быть два одинаковых костюма?

...Отар её не узнал. У фонтана неторопливо прогуливалась девушка, ростом выше Маринэ, шикарно одетая и с длинными распущенными волосами, подхваченными сверкающей заколкой (камни как настоящие, а может, они и есть настоящие!) Девочка просто блеск, и ножки блеск, и юбка по самое некуда... Своей жене он бы такого не позволил. А она красивая... Как Маринэ. Даже ещё лучше. Только она ему не нужна, и никто не нужен, только Маринэ.

Ишь, поглядывает, улыбается... Возомнила о себе! Думает, раз красивая, то можно так себя вести. Зря она на него

смотрит. С такими, которые об парней глаза себе мозолят, у Отара разговор короткий. И короткие отношения. Отар уставился на красавицу длинным тяжёлым взглядом, вложив в него ледяное презрение и равнодушие к «таким». И тут случилось невероятное – «возомнившая о себе» красавица подошла к нему сама! Схватила за руки, посмотрела в глаза и сказала строгим голосом: «Отари, ты долго будешь на меня так смотреть? И зачем ты мне врал про рубашку и про уют? Я поверила, расстроилась из-за тебя, а ты мне наврал. Зачем?»

Ошеломлённый Отар узнал наконец Маринэ, густо покраснел и без разбега принялся оправдываться.

– Я тебе не врал. Мать на спине заплатку поставила чёрную, если пиджак не снимать, то не видно, а я не собираюсь снимать... И на неё я не смотрел... то есть, на тебя, я же не знал, что это ты, я думал, что это не ты! – запутался Отар.

– Спорим, что смотрел? Спорим? – добивала его Маринэ. Отар покраснел ещё сильнее и перешёл в наступление, двинув на позиции Маринэ тяжёлые войска:

– Ты лучше скажи, кто тебе разрешил так одеться? Отец не видел, наверное, что на тебе надето, иначе бы...

– Иначе бы – что, Отари? – голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросила Маринэ. Отар молчал, опустив голову, и перебирал в руках её пальцы – один за другим. Маринэ отняла у него свою руку и гневно продолжила:

– Мне, между прочим, не жарко. Колготы тонкие, блузка

невесомая, юбка короткая, а куртка кожаная, без подстёжки, я в ней как в рефрижераторном вагоне! А ты всё ходишь и ходишь, смотришь и смотришь. Я для тебя оделась так, а ты мне такие слова говоришь! Мне этот костюм родители подарили, папа сказал – блеск, и что я в нём как Одилия из «Лебединого озера». А я ему сказала, – радостно тараторила Маринэ, – Я ему сказала, что если я Одилия, то мне осталось только Арчила... Ротбарта то есть, на нож посадить. Представляешь, в последнем акте «Лебединого» чёрная Одилия неожиданно расколдовывается, приходит в себя, и втыкает Ротбарту финку в горло, как барану. В финале море крови, овации, шашлыки, лезгинка на мысочках и крики «браво!» Новую версию балета ждёт грандиозный успех... Пошли, уже пускают всех, ты мне пирожное проспорил, Отари...

Пирожные с копчёной колбасой

Тот вечер в Большом театре был самым счастливым в жизни Отара и Маринэ. «Князь Игорь» с его волшебной музыкой, красивыми ариями, лихо закрученным сюжетом и неподражаемыми Половецкими плясками в бешеном, невообразимом темпе (великолепная хореография, блестящее исполнение и завораживающая музыка) привёл обоих в немыслимый восторг, если не сказать – в экстаз.

В антракте, забыв обо всём на свете, они сидели, вцепившись пальцами в подлокотники кресел, и взволнованно обсуждали увиденное. Спыхватился Отар лишь когда заметил, каким взглядом проводила Маринэ пакет с пирожными, который кто-то принёс из буфета в зал («Нормальный ход, «на вынос» купили, говорят, в Большом театре самые вкусные в мире пирожные» – подумал Отар).

От пакета с пирожными пахло так, что дух захватывало. Шоколадно-ликёрный шлейф протянулся через весь длинный ряд кресел, по которому пробирались к своим местам владельцы волшебного пакета. Маринэ вдохнула пахнущий пирожными воздух и сглотнула слюну. Отар не отрываясь смотрел на её голую шейку, гибким стебельком поднимающуюся из розовых кружев, такую беззащитную, такую трогательно нежную! М Маринэ молча глотала слюнки. Она никогда ни о чём не просила, своей жене он бы не позволил

молчать, по первому требованию получила бы всё, что ей нравится! Всё, что захочет! А эта...

По тонкому горлу Маринэ прокатывались крохотными комочками глотки пустоты, и Отару стало стыдно. Он ничем её не угостил, даже в буфет не повёл, остопарлах! (ингушск.. возглас удивления у мужчин. Не удивляйся, читатель, мама Отара была ингушской национальности, и летние каникулы он проводил в Чечено-Ингушетии, у бабушки, маминой мамы, там и «нахватался») Он ничем её не угостил, просидели весь антракт в креслах и говорили как заведённые, словно не виделись сто лет. Какой он после этого мужчина?! Отар почувствовал, как лицо заливают краска стыда. Хоть бы свет поскорей погасили...

Прозвенел третий звонок, и в мягко гаснущем свете царственных люстр Отар всё смотрел и смотрел – на её горло, на лебединую длинную шейку, на хрупкие детские плечи, просвечивающие сквозь розовую полупрозрачную блузку, на торчащие из-под замшевой юбочки стройные бёдра и коленки... Коленки были по-детски трогательные, всё в ней было необыкновенным, Отар душу дьяволу продаст за неё...

Когда зал утонул в темноте, Отар поблагодарил невидимого бога, или аллаха, или кто там сегодня на вахте? – за столь своевременно погасший свет, мысленно поклялся больше не разглядывать ни о чём не подозревающую Маринэ, и не отрывал уже глаз от сцены...

Деньги у Отара были, отец дал, много. – «Проголодаетесь

там, опера-то длинная, кончится поздно. Тебе тут хватит – самому поесть, и девушку накормить, и мало ли что ещё она захочет. Попросит коробку конфет, а у тебя денег не хватит – опозоришься, навек запомнишь. Мужчина всегда должен быть при деньгах» – напутствовал сына Темиров-старший.

Когда в зале снова вспыхнул свет, Отара словно пружиной подбросило, через мгновение он был уже на ногах и решительно скомандовал Маринэ: «Встаём и выходим, быстро! А то поговорить не успеем».

Они успели. Съели по пирожному, Отар взял празднично пышный «наполеон», щедро обсыпанный слоёной хрустящей крошкой и сахарной пудрой, и ещё корзиночку, которую они разделили пополам, обвиняя друг друга в жульничестве и неровной линии откуса. Маринэ выбрала облитый шоколадной помадкой восхитительно длинный эклер с кремом из настоящих сливок. Пирожные запивали шипящим как шампанское лимонадом и заедали бутербродами с копчёной колбасой. У Маринэ при этом было такое лицо, что Отар брякнул: «Марин, сделай нормальное лицо, а то люди подумают, что ты колбасы никогда не ела. Ты... остолбеневшая такая! Жуй быстрее, уже второй звонок был. Марин, ты чего? Ты чего, Маринка? Чего я сказал-то, я ничего такого...»

Маринэ перестала жевать, обернула к Отару лицо с хмуро сведёнными бровями – и Отар в который раз удивился, какие у неё длинные брови, ни у кого таких нет, только у Маринэ, его Маринэ!

– Отари, если ты. Ещё раз. Мне такое скажешь... Будешь есть пирожные один, а я поужинаю дома, творогом. Обожаю творог. А колбасу... я такую не пробовала, мама мне готовит отварное мясо. Она его со специями варит, очень вкусно. Мама говорит, колбаса вредная и калорийная, и никогда не покупает, только папе иногда. Папа на работе обедает, дома только завтракает и ужинает, а я всегда ем дома.

Отар с изумлением на неё уставился. Отварное мясо. Шутит она, что ли?

– Маринэ, не смейся. В школьном буфете бутерброды с колбасой, свежие, со сладким чаем – пальцы проглотишь! Я каждый день покупаю, и дома тоже.

– Тебе деньги дают на буфет?

– Ну.

– А мне только на дорогу. Я ем только дома, я же тебе говорила. И только диетическое.

Отар неверяще помотал головой, помолчал, осмысливая сказанное, и предложил:

– Тогда давай ещё по парочке возьмём, до третьего звонка успеем.

– По парочке... чего?

– Марин, ты совсем, что ли? Пирожных, конечно! Возьмём «арбатских», они знаешь какие? Не знаешь? Маринэ, тебе никто не говорил, что ты с луны свалилась? Два слоя твёрдого бисквита, между ними суфле, и всё это шоколадом залито, со всех сторон. Будешь?

– Буду! Ой, они маленькие такие... Ты мне два возьми... нет, три. И ещё с колбаской бутербродик, gegaі (гярэй) ?

– Чего-чего? Это по-каковски?

– Ну, ты совсем, Отари! С гор вчера спустился. Это по-литовски «ладно». А знаешь, если колбаску вместе с пирожным, то очень вкусно получается!

– Марин, ты совсем... А тебя не стошнит?

– Не говори глупостей, от колбасы не может тошнить, это же не суп из спаржи...

– Из спаржи? Это что за фигня такая? – изумился Отар.

– Это такая фигня, от которой тебя бы точно стошнило! – убеждённо сказала Маринэ, откусила пол-пирожного и, отправив вдогонку ломтик «браунгшвейской», положила на тарелку нетронутый хлеб и сказала с сожалением: «Пойдём уже в фойе, а то мы весь буфет съедим, другим ничего не останется».

Дон Микеле

Отар навсегда запомнит этот день, и в самые тяжёлые минуты (а их ему выпадет более чем...) будет вспоминать смеющиеся глаза шестнадцатилетней Маринэ, её измазанные шоколадом пальцы, пикантно-стройные бёдра в мини-юбке и голые плечи, просвечивающие сквозь блузку – розовую, с серебряными пуговицами на манжетах длинных рукавов, прозрачных и потому не скрывавших танцевально-красивых рук. И как она ела пирожное вприкуску с колбасой. И как на неё смотрели...

...На них оборачивались. Это была невероятно красивая пара, к тому же, шикарно одетая: он в импозантном чёрно-белом (чёрная с белым рубашка, пиджак из чёрной кожи и кожаные чёрные брюки, и это при том, что кожу в те времена было не купить днём с огнём), словно сошедший со страниц модного журнала – черноволосый, со смуглым нездешним лицом и точёным, с красивой горбинкой носом. Она – невероятно стройная, в невозможно короткой замшевой юбочке (закрывавшей, однако, то место, где у всех людей имеется попа, а у Маринэ вместо попы продолжались ноги) и бледно-розовой пышной блузе с прозрачными рукавами. Картину довершали перламутрово-розовые губы (блеск для губ Регина привезла ей из Каунаса, и Маринэ, не любившая косметики, на этот раз изменила своим правилам), чёр-

ные как ночь волосы, розовые ушки в дагестанских длинных серьгах и тонкая талия.

Глаза у обоих одинаковые, агатово-чёрные, как южная ночь. Оба смотрели только друг на друга и уминали за обе щеки арбатские пирожные, слизывая с пальцев шоколадную глазурь. Им было хорошо вдвоём.

– Взгляни на эту пару! – сказал кто-то рядом. – Это же... живой Майкл Корлеоне из «Крёстного отца», Дон Микеле! И его Аполлония, только ещё юней, совсем девчонка. Ну, помнишь, когда его на Сицилию увезли, от мафии прятали, и он там девушку увидел, и женился на ней, а она потом... она погибла, машина взорвалась, помнишь?» – восторженно прошептали у Маринэ за спиной.

– Вижу. Только она не очень похожа на сицилийку, скорее на чеченку. Национальность не разбери поймёшь, лицо округлое, нежное, немного... прибалтийское, а брови горские...

– Натали, ты у меня художница от бога! Ты словно картину рисуешь, все детали видишь! Блокнот-то с собой? И не разглядывай её так, а то заметит...

– Да иди ты, Мишка, лесом, с со своим блокнотом... С собой конечно, но не здесь же рисовать! В зале нарисую, я запомнила. Нет, ты посмотри на её брови, настоящие горские брови! Соболиные! И фигурка загляденье. А её Дон Мигель весь в коже... мальчик ещё тот. Бандит с большой дороги. Так, говоришь, Аполлония в машине взорвалась? Этих так

просто не взорвёшь, эти – сами кого-нибудь взорвут, помяни моё слово. Не наш менталитет. Всё, Мишка, кончай жевать и двигаем «нах хаузе». Может, я их нарисовать успею до третьего звонка...

Отар и Маринэ не замечали никого вокруг, наслаждаясь обществом друг друга, и не знали, что это был их последний счастливый вечер, за которым начнётся чёрная полоса.

Часть 18. Нечаянное обещание

Горе

Гиоргис умер за неделю до семнадцатилетия Маринэ – неожиданно для всех (и для него самого), не дожив двух месяцев до пятидесяти четырёх лет. В этот день он пришёл с работы мрачнее тучи, больше молчал, чем говорил, скучно ел (хотя на ужин были его любимые «цеппелины» по-литовски, которые у Регины получались восхитительными), и вообще был не похож на самого себя.

Маринэ угостилась мамиными «цеппелинами» в обед, и не отказалась бы ими поужинать, но «на ужин творог, Марина, и ты прекрасно об этом знаешь». И теперь – ковырялась в тарелке с творогом, в который Регина добавляла кусочки фруктов, или ложечку светлого изюма, или пару грецких орехов, разломанных на маленькие кусочки и обжаренных на сухой сковородке.

Сегодня добавкой к творогу служили ломтики свежего персика. Маринэ подцепляла их вилкой, а творог брезгливо стряхивала, обречённо дожидаясь маминого – «Марина! Ешь, как свинья!! И в кого ты такая...» (И далее по нотам, как говорила Маринэ). Когда отца за столом не было, к существительному «свинья» добавлялось прилагательное «аб-

хазская».

Абхазов у отца в роду не было, и Маринэ не понимала, за что мама их так не любит. Хорошие, достойные люди, Маринэ нравятся, и бабушке тоже. А отец не абхаз, он просто жил в Абхазии, в доме, где сейчас живёт бабушка Этери. Маринэ представляла себе весёленькую хрюшку бабушкиного соседа Янниса Густавовича. Свиней в Леселидзе никогда не держали взаперти, их отпускали «на выпас», и весь день они бегали где хотели. Тёмно-бурые резвые абхазские свинки, ничуть не похожие на наших ленивых хрюшек, были вполне самостоятельными – ловкие, пронырливые, неутомимые искательницы приключений.

Вечером они с радостью возвращались под хозяйский кров, где «блудных детей» ждал обязательный ужин. Днём пропитание полагалось добывать самим. Однажды соседский нахальный свинёнок добрался своим вертким пяточком до малышки-пальмы, которую Маринэ заботливо поливала из лейки, считая своей воспитанницей, и с волнением мерялась с ней ростом: кто за лето больше подрос? Маленькая пальмочка была её подружкой, она даже имя для неё придумала – Паолина, Паола.

И не было горя горше, когда проклятый поросёнок безжалостно вывернул Паолу из земли, чтобы полакомиться молодыми корешками. Бабушка Этери утешала рыдающую внучку: «Ничего, придёт и его час, нагуляет мяса, к зиме зарежут и съедят». – «Не на-аадо, я не хочу убивать, пусть жи-

вёт»– плакала Маринэ, готовая вместе со своим обидчиком питаться пальмовыми корешками, только чтобы его оставили жить. Ведь жизнь – это такое чудо! А поросёнок маленький и глупый, потому и сделал такое. «Он же не со зла, за что же его убивать, пусть живёт!» – плакала Маринэ. И много лет потом вспоминала эту хрюшку.

– Марина!! Как свинья копаешься, смотреть противно! Или ешь нормально, или вон из-за стола. Тебе семнадцать скоро, а ешь как пятилетняя. Гиоргис, что ты молчишь, посмотри на свою дочь... (И далее по нотам).

Маринэ хрюкнула от смеха и осеклась, встретив угрюмый взгляд отца. Отодвинула от себя тарелку с творогом (там ещё оставались кусочки персика, и можно было съесть, но не судьба) и встала из-за стола: «Спасибо, я... не хочу больше».

Отец никогда так на неё не смотрел – равнодушно, угрюмо, словно её здесь не было. Маринэ потом долго помнила этот взгляд. Как оказалось, последний.

В десять вечера по телевизору показывали папин любимый сериал – итальянский «Спрут» с Микеле Плачидо в главной роли. Отец не погнал Маринэ спать, как делал всегда, и она осталась, не веря своему счастью. В гостиной стояла непривычная тишина (если не считать телевизора). Маринэ потом долго помнила эту тишину. Мать молчала, она всегда молчала, когда отец был не в духе. А отец умирал.

Когда ему стало совсем плохо, Регина, несмотря на протесты отца, вызвала «скорую».– «Свободных машин на линии

нет. Ждите» – сообщили на том конце провода. И Маринэ с Региной, не понимая толком, что им сказали, терпеливо ждали. Всю ночь.

Маринэ сидела на стуле, держа в обеих руках отцовскую руку и чувствуя, как он уходит от неё с каждой секундой, с каждой минутой – по каплям пота на бледном лбу, по слабеющим прикосновениям пальцев...

«Скорая» приехала под утро, когда оказывать помощь было уже некому. Мать написала разгромное письмо в Министерство здравоохранения. Ответ был предельно лаконичен, в лучших традициях эпистолярного жанра: «К нашему сожалению, вследствие недостаточной укомплектованности парка машин скорой помощи, обеспечение бесперебойного наличия на линии машин не представляется возможным». И что-то там о соболезнованиях.

Регина в десятый раз вчитывалась в эти строки, пытаясь понять их заплетающийся, ускользающий смысл – и не понимала. Единственным, что «не представлялось возможным», была смерть Гиоргиса. Как же теперь жить? Может, ей уехать домой, в Каунас? А Маринэ отдать Кобалии, он с ней справится, а Регина не справится, даже думать нечего, девчонка в отца, упрямая и невозможная.

Обещание

Отец то задрёмывал (терял сознание, а Маринэ думала, что уснул), то просыпался. В одно из таких просветлений он крепко сжал её руку: «Послушай, Маринэ. Ты взрослая, тебе семнадцать... скоро. Должна понять. У меня большие долги: Валико должен, Арчилу должен. Потому ты выйдешь за Кобалию, даже если я умру. А иначе тётушка Этери останется бездомной: дом в Леселидзе записан на меня. Эту квартиру придётся продать, от вас с матерью не отстанут. Даже думать не хочу, что тогда будет...

– Ты много должен? – непослушными губами выговорила Маринэ.

– Много, – подтвердил отец. – Кобалия заплатит. И вы с мамой будете жить безбедно. И тётушка Этери.

– А если я скажу «нет»?

– Не скажешь. Вам с мамой придётся... трудно жить. А Этери не переживёт, когда к ней придут и отберут дом, и вежливо спросят: «Мы вам поможем собрать вещи, скажите, куда вас отвезти?». А везти некуда! Ей некуда идти, Маринэ! Она всю жизнь прожила в этом доме, она умрёт от горя! Если ты её хоть капельку любишь, ты должна это сделать... Обещай мне! – отец стал задыхаться, и Маринэ за него испугалась. У него, наверное, бред: какие-то долги, бабушкин дом в Леселидзе, Кобалия... дался ему этот Кобалия!

– Обещаю, я обещаю, только ты не умирай, папа! Только не умирай! – закричала Маринэ на весь дом, с ужасом чувствуя, как обмякла рука отца.

Маринэ пробирала дрожь, как когда-то зимой, когда она возвращалась из школы – в осеннем пальто, а под ним мокрый от снега свитер и снежная каша, в которую превратился снежок, сунутый ей за шиворот одноклассником. И замороженная спина, которой она больше не чувствовала. Маринэ до сих пор это помнила, и как её за это наказали, помнила. Она никогда не забывала причинённого ей зла, отомстит, когда представится возможность. Впрочем, однокласснику за неё отомстил Отар, а матери она мстить не будет, просто уедет навсегда, это и будет мстью...

У Маринэ стучали зубы и мёрзли руки, словно она стояла на морозе без варежек, а не сидела в тёплой комнате. Она заставила себя думать, что отец задремал, как делал это на протяжении всей ночи. Сейчас проснётся. А если не проснётся, значит, крепко спит, сон от болезни лучшее лекарство... Спи, папочка, спи. А я, чтобы не думать о плохом, посчитаю по-грузински – до десяти и обратно, как делала в детстве, когда надо было успокоиться.

Маринэ бормотала числительные, почти проваливаясь в сон, она не сомкнула глаз этой ночью, а ей завтра в школу, потом фламенко, боже, как она пойдёт, заснёт на уроке... «Спит наша Мариночка, похрапывает и причмокивает, так ты меня дразнил, да, папа? Не отвечает, спит... Спи, а я бу-

ду считать: эрти, ори, сами, отхи... Я ведь всё поняла, папа, я уже совсем взрослая, через неделю мне исполнится семнадцать, а ты... даже поздравить меня не сможешь, не дождался, ушёл навсегда. Зачем ты так со мной? Зачем отдал меня Арчилу, мной расплатился с долгами, ведь я тебя любила... А ты? Что ты сделал со мной?!

Мцухарэба (груз.: горе)

Маринэ молча говорила с отцом и вспоминала, как гуляла с ним в парке. Маринэ было шесть лет, она крепко держалась за папину руку и ничего не боялась, но когда они сели на какую-то вертящуюся штуку и поднялись высоко над парком, Маринэ испугалась. Она прижалась к отцу, влезла ему под мышку и зажмурилась от страха, а он смеялся и тормозил её, щекоча и балуясь: «Маринэ, открой глазки, посмотри как красиво, папа тебя держит, тебе не надо бояться»

– Я не боюсь, папа. Я справлюсь. Только не отдавай меня Кобалии, отдай лучше Отари, ему через два года восемнадцать исполнится и он сказал, что никому не позволит меня обидеть, даже тебе, – сквозь слёзы бормотала Маринэ и считала до десяти, и никак не могла досчитать... Мысли крутились в голове бесконечной каруселью и складывались в стихи. Нашла время сочинять стихи... Если уехать с Отари, мама останется бездомной, а бабушка Этери умрёт. Мама права, она всё-таки свинья! Эрти, ори, сами, отхи, один, два, три, четыре...

Эрти

Вновь моя рука в твоей большой ладони,

Вновь – иду с тобой.

Папа! Сколько лет тебя из детства – помню,

Сколько длится боль...

Ори

Вновь горит свеча, и в пламени дрожащем
Тает фитилёк. —

Тлеющая жизнь. Неслышно тает счастье,
Как последний вздох.

Сами

Сколько жить ещё – о том кукушка знает.

«Посиди со мной...»

Догорит свеча, и жизнь твоя растает
В сумраке ночном.

Отхи

«Подожди меня, не уходи!» – Не слышишь.

Где-то далеко...

Ночь не дарит сна. Рассвет всё ближе, ближе...

Будет нелегко.

Хути

Жизнь – как эта ночь, расколота на части.

Пляшет огонёк,

Тлеет фитилёк, и эфемерно счастье,

Как последний вздох.

Эквси

Смерть в пятьдесят три. Что может быть страшнее? —

«Папа, подожди!»

«Дочка, догоняй!» Догнать тебя не смею.

Ты меня прости...

Швиди

Вновь моя ладонь в твоей большой ладони,
Вновь – иду с тобой...

Сколько долгих лет я твои руки помню
И твою любовь.

Рва

В памяти живут, не блекнут детства краски:

Помню каждый миг:

Маленькая – я. И маленькое – счастье.

И огромный мир.

Цхра

В нём цветут сады, и с яблонь падает

Лепестками снег.

Может быть, с тобой мы встретимся когда—то,

Если есть Тот Свет.

Ати

Где-то далеко меня ты вспоминаешь —

И горит свеча.

Огонёк дрожит, и воск печально тает...

Я приду! Прощай.

Трудное решение

... Когда им выдали из морга тело отца, Маринэ не понимала, что происходит, понимала только одно: она непременно должна его разбудить – чтобы отец взял обратно свой жестокий наказ, завет, что там ещё, обещание. Да. Обещание. Надо, чтобы он вернул Маринэ её обещание, которое она прокричала в отчаянии на всю квартиру, на весь свет.

А потом может умирать, если хочет. Маринэ уже всё равно. Кобалия не получит её живой, только мёртвую... «Папа, не надо спать, вставай сейчас же! Ты такой бледный, ты замёрз совсем! – бормотала Маринэ по-грузински, очень тихо, чтобы слышал только отец. – Поедем домой, ты выпьешь свой любимый «Греми» и возьмёшь обратно свои слова. А иначе я... Я не смогу жить! Ты не знаешь... Я не смогу жить с этим противным Арчилом, он меня трогал... везде, я тебе не говорила, а теперь скажу... Да проснись же наконец и слушай!» – Маринэ в отчаянии дёрнула отца за руку, но ей не дали его разбудить, крепко взяли за локти и отвели от гроба.

Регина громко прошипела ей в ухо: «Марина! Что ты себе позволяешь! Надо держаться». Что она делает? Что она говорит? Неужели эта женщина с безжизненными сухими глазами – её мама?

Через месяц после похорон Регина напомнила дочери о её обещании. Маринэ промолчала, как всегда. Ей семнадцать,

впереди ещё год, они с Отаром что-нибудь придумают.

– Марина, молчать не получится. Нам надо серьёзно поговорить. Ты, конечно, собиралась поступать в вуз, хотела стать переводчицей... («Почему – хотела, она и сейчас хочет. Почему мама говорит в прошедшем времени?»). Но у отца остались долги, которые теперь стали нашими с тобой долгами. Их надо отдавать. И ты обещала отцу. Кобалия вчера опять звонил... Ты долго будешь его мучить?

– Мама!!

– Что – мама? Мама была в детстве. А теперь будет муж. И я вздохну свободно. Уеду в Каунас, а вы ко мне будете приезжать, летом в Палангу поедем втроём... Он домик купит у моря, если ты попросишь... Он всё для тебя сделает!

(«Мама, папа, детство... Я не умею играть в куклы, не умею кататься с горки, не умею дружить. Некогда было учиться дружить, вот и не научилась... Мамы тоже, наверное, не было, была гувернантка. У моих детей такой не будет, это я тебе обещаю»)

– Мне восемнадцати нет.

– Ты решила мне напомнить, сколько лет моей дочери? Очень мило. Но Валико не будет ждать год, долги надо отдавать. Хочешь, чтобы мы всю жизнь жили в коммуналке, а бабушка Этери в доме престарелых? Неужели ты позволишь?! Решай, Марина, последнее слово за тобой. В любом случае, моя жизнь, и бабушкина тоже, будет зависеть от твоего решения.

– Я... я согласна, мама. Позвони Кобалии и скажи, что я согласна. А теперь отпусти меня, я должна позвонить.

– Добрый день, можно Отари? Пожалуйста... Отари, нам надо встретиться. Сегодня. В сквере, где ты меня утешал. Знаешь, я скоро уеду. Хочу с тобой попрощаться.

– Отари. Молчи и слушай. Так случилось, что у нас с Кобалией свадьба через три месяца. Молчи. Не говори ничего, не делай мне ещё хуже. Нет, я сама согласилась, никто не заставлял. И теперь я хочу... ты понимаешь. Не понимаешь? Ах, шен сулэло штэро (ты тупой дурак), тебе шестнадцать, а ты всё не понимаешь! Хочу, чтобы первый раз это было с тобой, а не с ним. Выполни мою просьбу, Отари, я никогда тебя не просила, ни о чём. Не заставляй меня унижаться и умолять.

Часть 19. Маринэ Кобалия

И далее по нотам...

Не было бального платья. Не было пышной свадьбы. И во-все не потому что со дня похорон прошло всего четыре месяца, Арчил об этом забыл, он ведь получил Маринэ. Но заплатить за счастье пришлось слишком много, Кобалия даже не представлял, что придётся столько заплатить! Гиоргис был прилично (хотя, скорее, неприлично) должен директору фруктоперерабатывающего завода Валико, да и самому Кобалии тоже задолжал. Арчил бы подождал, но... не требовать же денег у Регины, жены своего лучшего друга!

Регине он дал пятьдесят тысяч долларов, достойный калым за невесту. Гиоргис должен был Кобалии гораздо больше, и Арчил Гурамович думал, что Регина откажется брать у него эти деньги, но она взяла, да ещё и пересчитать не постеснялась при нём, прибалтийская стерва. Но красивая, и Маринэ тоже красивая, и он её получил, и наплевать – сколько отдал. Но свадебного подарка Маринэ не получит.

«Свадьба дорогое удовольствие, а я... поиздержался. Долги надо отдавать вовремя, ты сама знаешь, Регина говорила, что ты в курсе» – Кобалия встретил равнодушный взгляд Маринэ и вскипел. Забыв, что Маринэ только окончила шко-

ду и не могла работать (впрочем, если учесть «дополнительные нагрузки», она работала с трёх лет, без скидки на возраст, при этом обязана была учиться на четвёрки и пятёрки и быть благодарной родителям за заботу). Забыв, что Маринэ недавно потеряла отца, Кобаля хлестал её гневными фразами, мало заботясь о том, какое производит впечатление: «Впрочем, зачем я тебе объясняю, тебе ведь всё равно, ты никогда не зарабатывала деньги, ты в них не нуждалась! Жила как у Христа за пазухой, на всём готовом, привыкла, понимаешь... к бриллиантовым часам!» – выговаривал семнадцатилетней жене Валико, не обращая внимания на сжавшуюся в комочек, помертвевшую от страха Маринэ. Потом решил, что от нотаций пора переходить к действиям, грубо притянул её к себе и стал торопливо расстёгивать бледно-голубое платье для фламенко... «Чёрт, сколько же здесь крючков, я до утра не справлюсь, помоги мне, Маринэ!»

Почувствовав на себе его руки, Маринэ закрыла глаза и стала думать о бабушке Этери и о Леселидзе, где три месяца в году она была счастлива. Арчил опешил: он ждал яростного сопротивления, обвинений в грубости, на худой конец, мольбы о пощаде. Но не услышал ни слова: Маринэ без возражений и слёз позволила делать с собой всё, что ему вздумается, даже не вскрикнула, лежала как мёртвая.

Увидев её залитое слезами лицо, Арчил опомнился. Ласково провёл рукой по щеке, погладил по шёлковым волосам, нежно поцеловал в розовое маленькое ушко, любясь совер-

шенством графических линий её тела – скорее как хореограф, нежели как любовник. Она останется такой, как сейчас, за этим он проследит. Не будет никакого вуза. Пока не родит, будет заниматься танцами. Потом – воспитывать его детей. Гиоргис говорил, что кроме ремня, других аргументов она не понимает, но с этим он повременит, девчонка не должна его бояться. Он будет с ней терпеливым и ласковым, она привыкнет к нему и будет слушаться, как слушалась отца. И любить, а не исполнять супружеский долг ... Чёрт, он так старается, чтобы ей было хорошо, а она как деревянная, лежит со сжатыми губами... Да что она, заснула?!

– Маринэ! Ты что, умерла?! – взревел Кобаля.

– Ара (нет).

– Ты хоть знаешь, сколько я за тебя заплатил?

– Знаю. Отец мне сказал. Я дорого стою.

– Ничего не умеешь, зато много знаешь. Умная мне жена досталась... Ну вот что, умница. С завтрашнего дня никаких телефонных звонков без моего ведома и никакого Отара. Ты теперь замужняя женщина и...

– И далее по нотам, – закончила за него Маринэ.

Сказать, что Кобаля был в бешенстве, когда узнал, что его невеста до свадьбы потеряла невинность, значит – не сказать ничего. Кобаля нарушил данное самому себе слово и не выпускал из рук ремня, пока Маринэ не уронила безвольно голову. Арчил Гурамович бережно уложил её на диван, удивляясь тому, что не услышал от неё ни звука. Он бы оста-

новился, он же не зверь. Сама виновата. Ничего, пройдёт. За удовольствие надо платить. Тем более – за такое.

С того дня Маринэ онемела. Молча стирала, молча убирала, молча готовила еду и кормила мужа ужином. Сцепив зубы, занималась в спортзале, куда он загонял её ежедневно, пока «позволяли сроки». И также молча исполняла супружеские обязанности. – «Мквдари хар?!» – «Диах, мэ моквди». Ты что, мёртвая?! – Да, я умерла.

Через полгода Маринэ родила сына.

Ярость

В тот вечер, когда Маринэ попросила Отара «не заставлять её унижаться и умолять», он возвращался домой, не понимая, зачем он куда-то идёт, зачем о чём-то думает, ведь жизнь кончилась – для него и для Маринэ. Они её всё-таки заставили, сломали. Сама бы она до такого не додумалась. Почему она согласилась, что они с ней сделали? Она ведь боится Кобалию, боится и ненавидит... Ярость бешено колотала в груди, гулко бухала молотом по наковальне, в которую превратилось сердце, поднималась горячей волной, заглушая боль, опустошая душу, ибо ярость была – пустотой, вакуумом... ничем. Это «ничто» больно отдавалось в сердце, и не хотелось больше жить...

Тогда он и увидел эту девчонку, которую вели, крепко держа за локти, два тридцатилетних негодяя. Девчонке было не больше семнадцати, и она тоже хотела жить, как хотела жить Маринэ. А впереди у девчонки была – пустота. Как у Маринэ. Отар криво улыбнулся, пропуская парней – мол, мне нет никакого дела до того, куда вы её ведёте и что собираетесь с ней делать.

А потом нанёс смертельный удар сзади: одного надо было убить, с двумя тридцатилетними верзилами он вряд ли справится, ему всего шестнадцать. А девчонка молча кричала о помощи: кричали её глаза, её нежное девичье тело, её

семнадцать лет, её ещё не начавшаяся жизнь...

За жестокое убийство с отягчающими обстоятельствами Отару дали двенадцать лет колонии строгого режима. Отец на суде не произнёс ни слова (Отар рассказал ему всё. И про Маринэ тоже рассказал). Мать смотрела на Отара полными слёз глазами и тоже молчала: что теперь говорить, остаётся только ждать... двенадцать лет. Отар никому не даст себя в обиду, хоть в этом можно не сомневаться. Этот чёртов гитарист отвёл его туда, где мальчика научили убивать голыми руками, и теперь ему придётся за это расплачиваться. Только бы он не убил никого в колонии, ведь за это ему добавят срок! Дрожащими губами она сообщила мужу о своих опасениях. Майрбек смахнул слезу, улыбнулся жене и обнял её за плечи: «Не убьёт. Он мне обещал». Альбика прерывисто вздохнула и... тоже улыбнулась: если отцу обещал, значит, не убьёт. Через двенадцать лет их сын вернётся. Хорошего они вырастили сына.

На них бросали осуждающие взгляды: вырастили убийцу и радуются, это ж надо – в шестнадцать лет голыми руками шею сломал человеку, только за то, что сигаретой его не угостил. Такова была версия оставшегося в живых «свидетеля», безоговорочно принятая судом, и Отар пожалел, что оставил его в живых, только покалечил. Это была ошибка. Больше он не допустит ошибок. Будет вести себя достойно и не поддаваться на провокации. И через двенадцать лет... увидит свою Маринэ!

Часть 20. Алаш

Двенадцать лет спустя

...Через двенадцать лет он ехал в дребезжащем трамвае на встречу с прошлым. Ему исполнилось двадцать семь, и он мог шутя справиться с четверными, а с финкой и с девятерными, с финкой он обращался виртуозно. В колонии строгого режима оказалось много настоящих людей. Отар ведь тоже считался преступником – за то, что спас незнакомой девчонке жизнь. Убив негодяя, он был изгнан из общества «достойных людей».

В колонии он познакомился с такими же «преступниками» и узнал, что «отягчающие обстоятельства» могут творить с людьми такие же чудеса, какое сотворили с ним. Отар сумел остаться самим собой, помогая и другим – беречь своё достоинство и не терять веры в себя. Отар ни о чём не жалел. Вышел на знакомой остановке и, улыбаясь, шёл знакомой улицей своего детства, которое бережно хранил в памяти все двенадцать лет. Оно осталось там, и Маринэ ждёт его на угольной куче... «Отари, сколько можно тебя ждать!» Сколько ей сейчас? Двадцать восемь? Маринэ, конечно, там давно не живёт, она живёт с мужем.

Он ошибся только в одном: родительская квартира не

принадлежала больше Маринэ, её купил Кобаля. Регина уехала в Литву и там держала художественный салон-магазин «Утагонэбис» (груз.: вдохновение), названный так в память о Гиоргисе. Кобаля оказался порядочным человеком и деньги от продажи семейного бизнеса честно поделил пополам: половину Регине, половину Маринэ, чьи интересы он представлял по причине её несовершеннолетия и как её муж.

Маринэ и не подозревала, какими деньгами ворочали Гиоргис с Валико, и если бы не кризис, как знать, чьей женой она стала бы... Поступила бы в институт иностранных языков, с её «парижским» французским это было бы легко. Что теперь об этом говорить.

С матерью Маринэ не общалась, хотя она приезжала в Москву каждый год. Когда она приехала в первый раз, на восемнадцатилетие Маринэ, Кобаля рассыпался в комплиментах по поводу её цветущего вида и процветающего бизнеса и на новеньком, сверкающем вишнёвым лаком «Киа» повёз «своих женщин» в самый дорогой ресторан. Маринэ весь вечер не раскрывала рта, с матерью не промолвила ни слова (с мужем тоже, но когда он к ней обращался, отвечала безжизненно—спокойным голосом) и ничего не ела, пила только воду.

Кобаля улыбался: «Не хочет, пусть не ест, дома ужина не будет». Маринэ молчала и смотрела в пол, Регина злилась на дочь и улыбалась её мужу. Уезжая в Каунас, расчувствовалась, тепло обняла Маринэ и поцеловала в щеку. Маринэ

дёрнулась, как от удара током, и молча высвободилась из её объятий, и Регина увидела выражение её лица...

Регина приезжала раз в год, на день рождения дочери, и каждый раз звала их к себе, и каждый раз Кобалия вежливо отказывался: «Мы бы с удовольствием, но в этом году не сможем, Мариночке надо быть в форме, фламенко требует классического подхода, а она располнела после родов. (Это была неправда, но Маринэ промолчала, хотя Арчил ждал возражений, затем и «зацепил» её). Ей нужен пилатэс на завтрак и йога на ужин, а в Каунасе какой пилатэс? – разорялся Арчил, поглядывая на жену. – На каждой улице кофейни с вкуснейшим кофе и свежей выпечкой, а я свою жену знаю, она не сможет удержаться и растолстеет. После рождения Тариэла до сих пор не может восстановить форму. Но в следующем году они с женой приедут в Каунас, это уж обязательно...

Регина таяла от комплиментов в её адрес и в адрес каунасских кофеен, а Маринэ думала о том, что и в будущем году Арчил её никуда не отпустит, да и зачем ей ехать? Чтобы снова получать от матери пощечины за дерзость и за то, что она не любит мужа? За нелюбовь Маринэ от него уже получила, с тех пор он её больше не трогал, а что до дерзости – Маринэ никому не дерзит, молчит уже семь лет, и похоже, Арчила это устраивает.

Только однажды она не смолчала, когда Арчил обидел маленького Алаша, за пустячный проступок (улёгся в постель, не убрав за собой игрушки) стащил с кровати, велел сложить

игрушки в коробку и встать в угол. Маленький Алаш терпеливо ждал, когда придёт папа и разрешит ему лечь спать, но Арчил о нём забыл, и Алаш уснул, сидя в углу на корточках. Форточка была распахнута настежь, мальчик схватил воспаление лёгких и чуть не умер, спасибо врачам, спасли. Алаш до сих пор боится врачей и уколов.

Маринэ сказала мужу: «Ещё раз тронешь его, убью. Ночью зарежу. Ты меня знаешь». Арчил помолчал, потом вздохнул и сказал: «Отвези его к своей тётке в Абхазию. Я денег дам, отвези! Не могу на него смотреть, чеченское отродье».

Маринэ отвезла мальчика к бабушке Этери, которой уже исполнилось семьдесят. Радости Этери не было конца: «Мариночка, бэбо (внученька моя), дай же мне посмотреть на тебя, девочка моя дорогая, помощница моя! Дай мне поцеловать тебя, дай вымыть твои усталые ноги, накормить с дороги, уложить в постель, у тебя такие усталые глаза, поспишь, и всё пройдёт, – ворковала бабушка Этери, сноровисто раздевая маленького Алаша и пробуя локтем воду в корыте. – Двое суток в поезде везла ребёнка, он потный весь, зачем так тепло одеваешь, зачем?»

Маринэ вспомнила, как папа назвал Этери незаботливой. Как она спала когда—то на голой земле под чинарой, укрытая старой бабушкиной шалью, и просыпалась от холода. Как терпеливо дожидалась ужина, опоздав на обед на полчаса... И сказала: «Он болел сильно, ему нельзя мёрзнуть. Ты береги его, бэбо (бабушка), и корми почаще, он у нас малоежка...»

Я тебе его насовсем привезла. Муж его ненавидит, отродьем назвал, – всхлипнула Маринэ. – Береги моего важико (сына), у меня никого не осталось, только Алаш.

Не слушая Маринэ, Этери раздела мальчика и, усадив в корыто, поливала из кувшина тёплой водой, зеленоватой от травяного отвара, ласково поглаживая по смуглым плечикам и спинке. Малыш таращил на неё чёрные глаза Отара и несмело улыбался.

– Ох, какого ты джигита привезла! Коня ему купим... У Маквалы велосипед есть такой, с лошадкой, близнецы из него давно выросли, Алашика нашего дождался... И будет скакать, двор большой, и виноградник плодоносит, и сад, проживём! У Маквалы корова, молочком его отпоим парным... Что он у тебя худой такой? Сама явилась – краше в гроб кладут, и сына голодом моришь! – ругалась Этери, и Маринэ хотелось, чтобы так было всегда, и бабушка Этери была всегда, и ласково ругала Маринэ, как умеет только она...

– Ох, джигит! Ох, молодец! И нос у него с горбинкой, и губы как лук изогнуты, а брови как стрелы, а глаза как молнии! Это чей же красавец такой, погибель девичья растёт, – речитативом выводила бабушка, укутывая мальчика в мохнатое полотенце и ласково его вытирая. – И нечего тебя кушать, здоровее будешь, солнышко лучше одежды согреет, а бабушка накормит, молочком напоит, вырастешь настоящим мужчиной, крепким как скала.

Этери стащила с него полотенце и подсунула мальчику кружку с комковатой домашней простоквашей. Алаш взял кружку обеими руками и долго не отпускал, втягивая губами прохладные кисловатые комочки, от которых проходила тошнота. Он выпил всю кружку (а дома в рот её не брал). Одобрительно улыбнувшись, Этери взяла мальчика на руки и понесла наверх, спать. Алаш, измученный длинной дорогой и наевшийся до отвала (в поезде его укачивало и мутило, он отказывался от еды, Маринэ поила его сладким чаем и ненавидела мужа за то, что не отправил их в Абхазию самолётом), засыпал у неё на руках, на мать даже не оглянулся. – «Бебо, чаасцви мас тбилад!» (бабушка, одень его потеплее) – прошептала ей вслед Маринэ.

Этери права, – устало подумала Маринэ. – Пусть её Алаш спит как когда-то она сама, на земле под чинарой. Не простудится, земля летом тёплая. Всё равно ему будет здесь лучше, чем в их доме, который давно перестал быть для неё домом...

Маринэ вздохнула, и вспомнив о деньгах Кобалии, полезла в чемодан...

– Ох, ты шутишь, столько денег, неужели настоящие? Да нам их на три века хватит, столько не проживёшь!

– А ты проживи, бабушка. А денег я вам ещё привезу, у Кобалии много, он мне даст... лишь бы Алаша никогда не видеть. Ты постели мне, ужинать не буду, я устала очень, а вставать рано, завтра обратно в Москву, билет куплен.

– Как? И погостить не останешься? – всполошилась Этери.

– Не останусь. Я с ним не спорю, бабушка. Сказал, завтра, значит, завтра поеду... Летом приеду, если он меня отпустит. Это не его сын, это сын Отара, бабушка, у Алаша его глаза, его лицо. Отар о нём не знает, он далеко... Но он со мной.

Колыбельная

Маринэ на цыпочках вошла в комнату. В комнате было темно, но в окно проникал лунный свет, и когда её глаза привыкли к этой непривычной, не московской темноте, Маринэ увидела как спит её Алаш – укрытый тёплым пушистым пледом. Щёки у него раскраснелись, ему было жарко. Маринэ стащила с него плед и надела на него – сонного – пижамку. Алаш длинно вздохнул во сне. Маринэ села на кровать и тихонько запела колыбельную, которую пел ей отец, когда она была совсем маленькой: «Нами... нами... кальому мораци. Нами... нами... кимису глика».

Колыбельная была греческой, Маринэ помнила сонно-ласковую музыку и тягучие, тёплые, убаюкивающие слова, от которых становилось хорошо. Слова Маринэ «перевела» сама, и теперь пела сладко спящему Алашу, незаметно для себя перейдя с греческого на русский...

Дрёма, дрёма проходит по дому,

Сладко шепчет в ночи тишина.

Всё, к чему прикасается дрёма

Замирает в объятиях сна.

Дрёма, дрёма гуляет по дому,

Зажигает в окошке луну.

День прошёл. Я его ещё вспомню,

А сейчас я немножко вздремну...

Припев:

Шелестящих шагов

Не слышно в ночи,

И звёзд протянулись к кровати лучи.

Звёзды, звёзды на небе сверкают,

Кружат, кружат в ночи хоровод

Звёзды в гости тебя приглашают,

Баю-баю, ложись – и в полёт!

Где-то там, на зелёной поляне

Под сиреновой сенью лесов

Капитан посадил свой корабль,

Средь сверкающих сказочных снов.

Припев.

В лунном блеске светилась поляна,

И стоял на ней сказочный дом,

И дорога к нему пробежала

Лунным голубоватым лучом...

Там красавица Дрёма сидела

В сарафане из светлого сна.

Под иконой лампадка горела

И в окошко светила луна,

Припев.

Ночь соткала из звёзд одеяло,

Прикоснулась неслышно рукой,

И сомкнули над миром объятия

Тишина, и любовь, и покой...

Дрёма, дрёма качает кровати,

Дрёма сказку расскажет без слов.

Пусть ваш сон будет крепким и сладким,

Спите, детки, счастливых вам снов!

Слова Маринэ придумала сама, а какими были настоящие, она не знала. Отец так и не перевёл, с укором подумала Маринэ, а больше ничего не успела подумать. Заснула.

И не слышала, как в комнату вошла Этери, с кувшином воды в руках. Этери стащила с неё джинсы (Маринэ не проснулась), опустила её ноги в таз с тёплой водой и долго поливала из кувшина и гладила каждый пальчик. «Маринэ, завтра ты уедешь и мы с тобой долго не увидимся, я знаю. Дай мне вымыть твои ноги, усталые от долгой дороги, пусть к ним вернётся сила, пусть они отдохнут в родном доме».

Слёзы мешались с водой и падали в таз, и бабушка омывала слезами ноги своей двадцатилетней Маринэ, удивляясь, как у неё мог быть трёхлетний сын. Сама ещё девчонка, больше шестнадцати не дашь... В институт поступать собиралась, читала ей по—французски и радовалась, что понимает без словаря... Зачем же так рано вышла замуж?

К счастью для неё, Этери так и не узнала, зачем. Укрыла обоих пледом и тихо вышла из комнаты.

Часть 21. Сыновья золотой рыбки

Звездоплаватели

Отар ничего не знал о сыне, как не знал и о двух мальчиках Кобалии: пятилетнем Тариэле и шестилетнем Гиоргисе, названном в честь отца (Арчил не хотел, но Маринэ так плакала, что он махнул рукой и согласился). Отар ничего не знал, ехал на трамвае в своё детство и счастливо улыбался. Он словно слышал Маринэ: «Отар, какой красивый ножичек!» – «Это не ножичек, это финка, церцето! (груз.: глупая)» – «Ну всё равно, пусть я черцето, дай мне подержать... Дай! Ва, Отари! (ингушск.: Эй!) Как я смотрюсь?» – «Маринэ, это оружие, с ним нельзя шутить!» – «Я не шучу» – «Отдай сейчас же, или руку выверну!» – Ну, на, на! Испугал. Я сама тебе выверну, я умею, ты сулэло (груз.: дурак), сам меня научил...»

Во дворе, тенистом от огромных раскидистых тополей (неужели это те самые тополя из его детства?) на новеньких качелях-лодочках бесстрашно раскачивались двое ребятешек. Пожалуй, слишком бесстрашно: качели взлетали высоко в небо, и становилось страшно за детей – вдруг улетят? Их сестра, отвернувшись, беспечно болтала по телефону. Доверили детей девчонке, возмутился Отар.

Мальчишки упрямо раскачивались, словно и впрямь хотели долететь до самого солнца. И они бы долетели – и качели сделали бы «солнце», но им было по пять лет, они бы точно не удержались в зависшей вверх дном «лодочке» и упали на землю. О чём думает их сестра?!

У Отара не осталось времени на размышления: упрямые мальчишки взлетели вертикально вверх. Они почти «долетели», когда железные руки Отара остановили этот смертельный полёт. Вцепившись в «лодочку» мёртвой хваткой, он взлетел вместе с ней – и опустился на землю. Отара проволокло спиной по песку с гравием («Какой идиот додумался насыпать под качели гравий?!»), и качели остановились.

Отар вылез из-под днища «лодочки», молча поднялся, потирая спину, молча выволок за шиворот «астронавтов» и отпустив каждому по увесистой затрещине поставил обоих на ноги, держа за шиворот, как молодых тигрят (на котят эти двое походили меньше всего).

«Звездоплыватели», получив своё, не заорали – то ли оплеухи были для них привычными, то ли это у них шок. Скорее, второе, определил Отар навскидку. И сказал малышам: «Ва, нах! (ингушск.: Эй, люди!) Посмотрите на них, головой думать не умеют, как бараны, а на качели лезут. Марш отсюда оба! И чтобы я вас тут не видел, а то ещё получите... Или вам понравилось? Так я могу добавить».

Гиоргис с Тариэлом переглянулись, одновременно схватились за щёки – один за правую, другой за левую (Отар уда-

рил их с обеих рук) – и молча поплелись к песочнице. Наверное, бурить скважину до Америки, на меньшее они не способны. Девчонка перестала болтать по телефону, так же молча подошла к песочнице и с размаху залепила обещанную «добавку» – Гиоргису и Тариэлу, Гиоргису и Тариэлу...

– Ва, женщина, остановись, хватит... Им уже хватит!

Тигрица оставила хнычущих тигрят в покое и обернулась. Отар окаменел: перед ним стояла его Маринэ и смотрела на него остановившимися глазами.

– Уходи, Отари, – только и сказала Маринэ, и Отар подумал, что у неё тоже шок. – Уходи. Кобалия из окна увидит, мне от него достанется.

– Он тебя бьёт?!

– Ннн.. нет. – Маринэ неопределённо пожала плечами. Отар помнил этот её жест. На негнущихся ногах подошёл к ней, обхватил за плечи сильными руками и прижал к себе так крепко, как только мог. Плечи были такими же, как в детстве – птичьи косточки.

– Отпусти, я дышать не могу!

– Не можешь, не дыши. Он тебя что, не кормит совсем?

Что ты такая?

– Какая, Отари? Я и должна быть такой. Я в «Легендах фламенко» танцую.

– Танцуешь? С двумя детьми?!

– Да... С двумя, – с запинкой ответила Маринэ.

Враг

Они стояли посреди двора, в тени тополей из детства, и хотя Маринэ едва могла дышать в медвежьей хватке Отара, ей было хорошо, впервые за двенадцать лет. И никто из них не видел, как Арчил Гурамович Кобалия, который не отрываясь смотрел в окно на эту сцену, стал тихо оседать на пол, цепляясь за соломенную штору... На его глазах чуть не погибли его сыновья, которым хладнокровно позволила это сделать их мать.

Их спас его злейший враг, сына которого он чуть не погубил. С тех пор как родились его сыновья, Арчил не отпускал Маринэ в Леселидзе, с удовольствием наблюдая за выражением её лица, когда она просила об этом – и каждый раз слышала отказ. Она, наверное, каждый раз чувствовала то, что он чувствовал теперь: невыносимую боль в сердце... Может, надо было её отпустить хоть раз? Кобалия регулярно посылал Этери Метревели деньги на содержание Алаша, а Маринэ оставались только письма, которые Этери отправляла ей до востребования на Главпочтамт.

Пусть едет, он её отпустит. Хотя – некого отпускать: она вряд ли к нему вернётся, уйдёт с этим бандитом Отаром, бросит его сыновей и будет жить с убийцей... С неё станется. За двенадцать лет он так и не смог с ней справиться, она всегда его ненавидела.

Почему она его ненавидит, он же любит её, ни в чём не отказывает, кормит, одевает, воспитывает. Зато не артачит-ся больше, глазами не сверкает, шёлковая стала. Работать запретил, учиться не позволил, зато танцевать научил профессионально и держит её в хорошей форме – даже после рождения трёх сыновей она тоненькая и гибкая как стебель цветка. Это его заслуга. А она хотела убить его детей. Мало он её воспитывал... Жалел. Отблагодарила. За что ему всё это? Как же такое выдержать?

И сердце Кобалии не выдержало – обожгло невыносимой болью, сыновья были для него всем, а она любила только этого ублюдка Алаша, потому что его отцом был Отар. В их первую брачную ночь Арчил Гурамович наказал Маринэ за измену, как когда-то наказывал её за непослушание и двойки отец. Маринэ вытерпела наказание молча, только из глаз ручьями бежали слёзы. Взбешенный Кобалия остановился только когда Маринэ потеряла сознание...

Так же молча она терпела его любовь. – «Что ты как мёртвая? – злился Арчил. – С чеченцем своим живая была, со мной как умерла!»

«Да, умерла» – могла бы ответить Маринэ, если бы она могла говорить. С той ночи она замолчала навсегда, как Русалочка из грустной сказки Андерсена.

Арчила это не смущало, он не церемонился с женой, как не церемонился с ансамблем, который муштровал, как солдат на плацу, но толку от этого было мало: профессиональ-

ная подготовка «артистов» оставляла желать лучшего. Так же мало было толку от жены, холодной и бесчувственной, как замороженная рыбина.

Арчил сменил тактику. У Маринэ появилась норковая шубка, которую она не надевала, упрямо ходила в стареньком пальто с изношенным ватином и вытертым воротником. Появились драгоценности, которые она не носила. Когда в дом приходили гости, Маринэ покорно позволяла Арчилу продеть ей в уши серьги и надеть на шею тяжелое кольцо с великолепными крупными гранатами. Маринэ была великолепна, гости завидовали Кобалии, а он не завидовал сам себе. У него была Маринэ, было всё... Не было только детей.

Кобалия молил жену о детях, как молят бога о чуде. В ответ Маринэ поступала как бог – молчала и терпела. Кобалия, не смея её тронуть, «отрывался» на ансамбле, который он к тому времени «довёл до ума» – сменил состав на профессиональный и пошел в гору: гастроль по стране, гастроль в Испании, гастроль во Франции.

На репетициях Коба зверел, и танцоры прозвали его «недоделанным Арчилом», Прозвище был двусмысленным, Кобалия злился, понимая, что без участия Маринэ здесь не обошлось. Так сказать, приложила руку... Пожеланиями артистов ансамбля Арчилу Гурамовичу Кобалии была вымощена дорога в ад – с отмошкой, обочинами и дорожными указателями.

Маринэ он «гонял» наравне со всеми, хотя она не была

профессионалом и ей приходилось тяжелее остальных. Когда все уходили домой, Арчил разрешал жене передохнуть и снова заставлял заниматься, пока она не падала с ног. Кобалия ждал чуда, но при таких физических нагрузках «чудо» не могло произойти по определению. У Маринэ прекратились месячные и началась депрессия, которую муж упорно не желал замечать и называл капризами. Так прошло четыре года.

Сыновья Золотой рыбки

Арчил наконец опомнился и ослабил хватку. Свозил жену в Италию и в Швейцарию, на озёра, а осень они провели в Греции, где Маринэ не вылезала из моря и с аппетитом ела свежую рыбу, запечённую на углях, и знаменитые греческие сувлаки. Она немного поправилась, лицо округлилось и стало ещё красивей, в глазах светилась жизнь. Через девять месяцев появился на свет Гиоргис, а ещё через год Тариэл. Кобалия обожал маленького Тариэли и был невозможно, неприлично счастлив. Маринэ была равнодушна к детям, хотя заботилась о них.

«Не хочешь детей, не надо» – сказал ей Кобалия. Нашел сыновьям няню (высшее филологическое образование, курсы психологии, английский в совершенстве) и через два месяца после рождения Тариэла загнал Маринэ в репетиционный зал – восстанавливаться. Маринэ улыбнулась (впервые за пять лет) и «восстановилась».

Сыновей она не любила, но им хватало отцовской любви, да и няня попалась заботливая. В три года дети уже бойко тараторили на английском. Впрочем, с матерью они общались на грузинском. Когда Гиоргису исполнилось пять, Кобалия уволил няню, с которой не нашел общего языка (Маринэ только усмехнулась, ей было всё равно, замороженной Золотой рыбке...) и дети пошли в баснословно дорогой дет-

ский сад (английский, бассейн, хореография, рисование и теннис, на выбор).

– Если я уеду на гастроли, кто останется с твоими детьми? – сказала как—то мужу Маринэ. Арчила резануло это «с твоими», он ожидал услышать – «с нашими».

– Найду, с кем оставить. Гувернантку найму. Не твоя работа.

– Не моя? Хорошо. Я запомню, – улыбнулась Маринэ, и Арчил впервые в жизни не нашелся с ответом.

– Нет, я не то хотел сказать...

– Ты уже сказал! – отрезала Маринэ. И в июне улетела с ансамблем в Мексику. Кобалия остался с детьми, сам забирал их из садика, кормил ужином, купал и укладывал спать. Впрочем, сыновей он забирал только на выходные – Арчил Гурамович оплатил пятидневное пребывание. Пятидневка устраивала всех троих, в элитном детском саду детям не приходилось скучать, а приходилось заниматься. Гиоргис с Тариэлом взахлёб рассказывали отцу, чему научились – перебивая друг друга и безудержно хвастаясь...

Тьма

Всё это Кобалия вспоминал, приходя в себя и снова проваливаясь в беспамятство. И однажды почувствовал на своём лбу прохладную руку Маринэ. Он узнал бы её прикосновение из тысячи – такое дорогое, так и не ставшее родным прикосновение. Так и не ставшая родной – его Маринэ. Даже в больничную палату она явилась с этим бандитом, Отаром. С уголовником, спасшим его детей.

– Маринэ... Дети... Ты хотела их убить, я видел! За что мне это, за что?

– Отари, у него бред, надо позвать сестру.

– Не бред. Я видел.—

Гмэрто чэмо, мой бог, я просто отвернулась. Не видела, как они раскачались.

– Ты незаботливая мать, только бить умеешь. Я видел, как ты их била, а перед этим твой Отар.

– Они заслужили. Получили своё. Видишь, я о них всё—таки забочусь. А ты заботишься обо мне. С первой ночи... Я помню. Я все ночи с тобой ненавижу.

– А уйти тебе некуда. Поэтому ты со мной.

– Не с тобой. Ты так и не понял?

– Я умру, Маринэ?

– Надеюсь.

– Отар, убери её с моих глаз! Отар... Мои дети...

– Ра ткма унда (конечно).

– Отари, квартиру в Москве продадим и купим в Тбилиси, и в Леселизде купим дом, – весело сказала Маринэ. – У нас теперь много денег... будет. Ведь будет, Арчил?

– Маринэ, он же живой ещё, так нельзя, остановись!

– Это тебе нельзя. А мне можно. И не держи меня, а то... А то я тебе руку выверну.

– Ай, Маринэ! Научил я тебя на свою голову... Всё, всё, уже отпустил... А как же фламенко?

– К чёрту! Фламенко – к чёрту. Мне двадцать восемь, Отар, ты забыл? И я... Я устала, Отар. Я хочу просто жить, с тобой и Алашем. И ещё я хочу дочку.

– Не понял. С кем ты хочешь жить? Какой ещё Алаш?

Маринэ не ответила, обняла Отара и счастливо рассмеялась.

Последнее, что увидел Кобалия в своей жизни, была его жена, целующаяся с Отаром. А потом свет стал стремительно меркнуть. Он шёл сквозь вязкую тьму, идти было трудно и больно, но он должен был догнать Маринэ и наказать её за то, что позволила себе такое... Маринэ убегала смеясь, танцующей лёгкой поступью, за которую он когда—то влюбился в неё... и мстил ей всю жизнь.

...Тьма не давала идти, связывала мысли, сковывала движения, пеленала покоем. И Арчил уступил, растворился в этой тьме и отпустил Маринэ... «Маринэ! Шени чир мэ, шени квнесаме, Маринэ, (отдай мне свои беды, отдай свои

заботы, буквально: твой стон мне) и – живи. Только детей не бросай, они ведь и твои дети тоже, Маринэ...»

Часть 22. Старый дом

Праздник

Через десять лет Маринэ с Отаром и восьмилетней Маквалой приехали из Тбилиси в Леселизде. В просторном большом дворе у бабушки Этери, которой к тому времени исполнилось восемьдесят, собралось всё село: праздновали шестнадцатилетие Гиоргиса. Столы стояли каре, чтобы уместились все и осталось место для танцев. Ведь будут танцы! И под конец – лезгинка, и когда пройден весь путь и исполнены все коленца, под самый конец – лезгинка исполняется на мысках сапог – это уже настоящее мастерство, не всякий может. Отар умеет, но где ему тягаться с Тариэлом... Тариэл великолепен!

Танцы – это ещё не скоро, а пока во дворе толпится народ, слышатся приветственные возгласы и смех, а люди идут и идут – со стульями и скамьями в руках, с кувшинами вина и корзинами фруктов...

На столе возвышаются горы румяных лавашей, дразняще пахнут свежие пироги с сыром, салаты в широких мисках, варенья, соленья, бабушкино печенье, кувшины с вином... Маринэ вздыхает и глотает слюнки. За стол ещё не приглашали, гмэрто чэмо, как же это вытерпеть! Она готова съесть

всё.

Отар тихонько шепчет в её ухо: «Уймись, обжора! На ужин творог, mergaite mano» (литовск.: моя девочка). Маринэ молча втыкает мужу в бок локоть, стараясь проделать это незаметно и максимально эффективно. Научил на свою беду, получай, не жалуйся. Отар морщится и одобрительно кивает: приём проведён грамотно и... «Иш-ша (ингушск.: ох ты), больно же, Марин, ты совсем уже...»

А люди всё идут – с улыбками на лицах. Пять лет назад (а кажется, что вчера) в бабушкином дворе праздновали шестнадцатилетие Алаша, и Отар принимал поздравления от людей, которые стали ему родными и которым он отдал бы всё, что имел, если бы они попросили.

Сегодняшнее торжество было в честь Гиоргиса, а ещё через год вот также все будут отмечать совершеннолетие Тариэла, по которому сходили с ума все девчонки от двенадцати до семнадцати лет, и с этим ничего нельзя было сделать: парень был красив грешной красотой, древней как мироздание. И великолепно танцевал. Профессионально. Маринэ поступила с сыновьями Кобалии как хотела: отдала обоих в Ленинградское хореографическое училище имени Агриппины Вагановой – с глаз долой, из сердца вон...

Их жизнью на долгие годы стал интернат, где «не сахар и не мёд» и долгожданные каникулы у бабушки Этери. Оба не помнили, когда последний раз были дома. Маринэ любила сыновей Кобалии как могла, и поняв это, они не требова-

ли от неё большего. Гиоргиса исключили из училища через три года (он приложил к этому все силы), Тариэл через год окончит.

Бог любит твой дом, Этери, если в нём выросли такие дети! Бабушка Этери слезящимися глазами смотрела на правнука и радовалась, что ей довелось дожить до этого замечательного дня: ведь сегодня с ней были все, кого она любила – Маринэ, Отар, Алаш, Гиоргис и Тариэл. Соседские близнецы Анвар и Анзор приехали с женами и детьми, и восьмилетняя Маквала Темирова играла с их сыновьями в камешки, как когда-то играла с близнецами сама Маринэ...

Пятрас Аугутас тоже пришёл проведать свою подружку. Яниса Густавовича уже не было в живых, как и тёти Маквалы. Но они остались жить – в своих детях и внуках, носящих их имена, и не было печали в этот день, была только радость. Смеющаяся Маринэ, которой никто не давал её тридцати девяти лет, принимала поздравления и подарки, смотрела на голубое небо, зеленые горы, которые уходили вдаль и там становились синими... И вспоминала, как она собирала на этих холмах ежевику – с Маквалой, рыжим Байкалом и близнецами Маквалы, которым исполнилось по тридцать пять и которые живут в разных концах земли – Анвар в Мурманске, Анзор в Бишкеке, и оба оставили свои дела и приехали поздравить Маринэ с совершеннолетием сына, носящего имя её отца. Да и как они могли не приехать – домой? Ведь Маринэ с Отаром семь лет назад купили их дом, в котором

близнецы не захотели жить после смерти Маквалы: всё здесь напоминало о матери. Маринэ ухаживала за могилой Маквалы, и у Анзора с Анваром было спокойно на душе. Сегодня они будут ночевать в своём доме, который теперь принадлежит Алашу Темирову. Алаш живёт там женой Зарой и дочкой Фатимой. Фатимка совсем ещё мала – ей всего два года, но она настоящая красавица – копия Маринэ, как утверждает Алаш, и Зара на него не обижается. Алаш с Зарой ждут сына, так что скоро в Леселидзе снова будет праздник – родится маленький Отари Темиров.

Забор между участками снесли, виноградник теперь тянется до самой горы. Близнецы приезжают каждый сентябрь в отпуск (для них построен двухэтажный коттедж с общей верандой), Маринэ с Отаром приезжают тоже, и тогда в доме наступает праздник: до поздней ночи светятся окна, до поздней ночи не смолкают разговоры, и воспоминания, как искры от костра, поднимаются к звёздному небу, обнявшему Леселидзе тёплыми руками.

Звёзды обо всем знают и всё помнят, у звёзд есть сердце – это Леселидзе. Место, где тебе рады, где тебя всегда ждут и любят не за что—то, а просто так, за то что ты есть. Как Отар любит свою Маринэ, а Маринэ Отара, как бабушка Этери любит маленькую Фатимку, как любит Алаш свою черноглазую Зару. Аллах да пошлёт им беспечальную и счастливую, долгую-долгую жизнь.

Эпилог

Отар работает директором фруктовоконсервного завода «ОТНА» вместе с сыном Валико Наргизовича, они компаньоны, название составлено из первых букв их имён. Продукция завода известна далеко за пределами Абхазии, и это заслуга его владельцев, Отара Темирова и Наргиза Агапишвили. Маринэ руководит театром-студией фламенко в Тбилисском Центре народного творчества. Этери Метревели умерла в возрасте девяноста лет и похоронена на кладбище в горах, рядом с Маквалой. Ей теперь спокойно за детей, у которых – она знает – всё хорошо. Шени чири мэ, шени квнеса мэ, твои беды мне, твои заботы мне, бабушка Этери. Мшвидобит. (Прощай).